

# амшей нгоренберг

Одесса—Париж—Москва

*Воспоминания художника*



# Амшей Маркович Нюренберг Одесса-Париж-Москва

*Текст предоставлен правообладателем  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=11646285](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11646285)  
Одесса – Париж – Москва. Воспоминания художника:  
ISBN 978-5-93273-289-X*

## **Аннотация**

Художник Амшей Нюренберг (1887-1979) родился в Елисаветграде. В 1911 году, окончив Одесское художественное училище, он отправился в Париж, где в течение года делил ателье с М. Шагалом, общался с представителями европейского авангарда. Вернувшись на родину, переехал в Москву, где сотрудничал в «Окнах РОСТА» и сблизился с группой «Бубновый валет». В конце жизни А. Нюренберг работал над мемуарами, которые посвящены его жизни в Париже, французскому искусству того времени и сохранили свежесть первых впечатлений и остроту оценок. Литературное наследие художника включает также воспоминания, эссе и очерки советской художественной культуры середины XX столетия. Книга снабжена широким иллюстративным рядом, который включает графическое и живописное наследие художника, а также семейные фотографии, публикуемые впервые.

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Ольга Тангян                      | 4  |
| Первые заказы                     | 19 |
| Первый портрет                    | 19 |
| Ювелирная работа                  | 31 |
| Макс                              | 39 |
| Профессор Бомзе                   | 43 |
| У моря                            | 45 |
| Лавочник-философ                  | 47 |
| В Париже                          | 50 |
| Переход через границу             | 50 |
| Первые дни в Париже               | 52 |
| Осенние миниатюры                 | 53 |
| Знакомство с импрессионистами     | 55 |
| Письмо из Франции (1911 год)      | 57 |
| В «Парижском вестнике»            | 58 |
| Скульптор Синаев-Бернштейн        | 64 |
| Парижская весна                   | 69 |
| Влюбленные                        | 70 |
| Огюст Роден                       | 71 |
| Сара Бернар                       | 73 |
| Пушкинист Онегин                  | 75 |
| Я видел Жореса                    | 76 |
| Старый парижанин Леон             | 82 |
| Коллекция Леона                   | 84 |
| Мать с очками                     | 87 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 91 |

# **Амшей Нюренберг Одесса – Париж – Москва**

## **Ольга Танган Одесса – Париж – Москва (вступительная статья)**

За последние годы заметно вырос интерес к творчеству русских художников 20–30-х годов XX века. Авангардизм и соцреализм оказались не столь несовместимы, как то казалось современникам. В конечном счете в истории искусства остались имена тех, чье творчество отличалось мастерством, фантазией и новаторством – независимо от того, к какой школе они принадлежали.

В 2004 году в московской галерее «Ковчег» проходила выставка двух братьев – Амшея Нюренберга (1887–1979) и Давида Девинова-Нюренберга (1896–1964), вызвавшая многочисленные отклики в прессе. За высокую технику рисунка старшего брата Амшея в свое время называли «московским Рембрандтом», отмечали в его творчестве элементы импрессионизма. Картины Давида отличали большая прямолинейность и напористость. Эта выставка наглядно продемонстрировала перипетии сложного и противоречивого прошлого.

\* \* \*

С начала XX века из России, Украины и Белоруссии на Запад потекли эмиграционные потоки. В основном они двигались в Америку – воплощение давнишней мечты русского человека о свободной жизни и неограниченных возможностях. Из европейских стран самой привлекательной казалась Франция. Туда уезжали в основном не по политическим убеждениям – среди эмигрантов преобладали художники. Для них не существовало языковых барьеров, и они в наименьшей степени были привязаны к одному месту. В Париж из Витебска приехали скульптор Оскар Мещанинов и художник Марк Шагал. Из другого белорусского города Смиловичи прибыл во Францию Хаим Сутин. Среди художников, оказавшихся в 10-е годы в Париже, был и мой дед, Амшей Нюренберг.

Амшей Нюренберг родился в 1887 году на Украине, в городе Елисаветград (после революции переименованном в Кировоград). Отец его занимался торговлей рыбой. Амшей был старшим из 10 детей в семье. Он начал рисовать еще в школе. Учитель рисования первый обратил внимание на способности мальчика, поощрял его и собирал его ранние рисунки. В 15 лет Нюренберг выставил в местной лавке бюст Льва Толстого. Скульптуру заметил некий Бернс – образованный человек, немец по происхождению. Он захотел познакомиться с мальчиком, тот ему понравился, и Бернс дал Амшею денег для получения художественного образования. В 1911 году Нюренберг закончил живописно-скульптурное отделение Одесского художественного училища по классу профессора Кириака Костанди и в том же году отправился на поиски счастья в Париж. Родину Нюренберг покидал со смешанным чувством страха и ностальгии. Как ему тогда казалось, он покидал ее навсегда.

«Мы вошли в лес. В лесу было тихо и темно. Меня удивили огромные, необычайно высокие сосны. Казалось, что их верхушки касаются звезд. Шли мы долго. Наконец показалась опушка леса. Я почувствовал, что сердце мое сильно забилося. Мы вышли на полянку. Затем показался

глубокий пограничный овраг, куда я спустился вместе с другими. “Родина, – подумал я, – осталась позади”. В этот тревожный момент грусть закралась в мою душу. Мне казалось, что я недостаточно нагляделся на мое любимое ласковое украинское небо, романтические степи и курганы. Надо было бы их зарисовать и в Париже в часы тоски по родным местам глядеть на них. Все время не покидало чувство, что в моей жизни наступила холодная пора. Когда я выбрался из оврага, я на минуту остановился и оглянулся. Позади была моя родина – Украина».

Нюренберг никогда прямо не писал и не говорил, что намеревался эмигрировать во Францию. Однако последний абзац недвусмысленно обнаруживал именно это намерение – не посмотреть, обучиться и вернуться домой, но уехать навсегда. Но он, как жена Лота, оглянулся назад. И, как для библейской героини, для него это оказалось роковым. Он не смог окончательно оторваться от прошлой жизни и через два года вернулся в Россию.

В 1911 году в Париже уже жили друзья Нюренберга, тоже ученики Одесского художественного училища – художники Малик, Федер, скульпторы Мещанинов и Инденбаум. Они сразу взяли его под свою опеку и много для него сделали, особенно в первое время. Друзья стали его главными гидами по парижским музеям, они делили жилье и заработки, вместе выполняли живописные, малярные, оформительские работы, рисовали карикатуры.

Из этой компании наибольшей общительностью и предприимчивостью отличался Мещанинов, которому с легкостью удавалось завязывать контакты и находить работу. В 1911 году он познакомился с членами рабочего союза во главе с Жоресом (редактором коммунистической газеты «Юманите»). Французские рабочие испытывали симпатию к русским художникам и помогали им искать заработки. Друзья вместе шли красить подоконники и заборы, а затем покупали букеты цветов, ставили натюрморты и писали маслом на холстах, вместе мечтая о красивых натурщицах и о славе.

Обычная жизнь художников выглядела следующим образом: «Холодные дни в Париже: днем – мастерские, вечером – кафе». Но когда Нюренберг делил мастерскую с Жаком Маликом, друзья переживали настоящую нужду. Им не удавалось найти даже малярные работы, и они не могли посещать кафе. На обеды денег не хватало, ограничивались завтраками и ужинами. Чтобы не страдать от голода, друзья старались больше спать. «Кто спит – обедает», – гласит французская пословица. Спали в холодном, неотапливаемом помещении, укрывшись пальто и старыми холстами.

В течение года Нюренберг делил ателье в фаланстере художников «La Ruche» (Улей) с Шагалом. «Когда зимой в 1911 году я перебрался с улицы Сен-Жак на улицу Данциг в убогую, холодную мастерскую, соседом моим оказался Марк Шагал. Это был худощавый юноша с голубо-серыми глазами и светло-каштановыми волосами», – вспоминал он.

Главным делом жизни двух художников, конечно, оставалась живопись. Но Нюренберг описывал и их будничные занятия. Из окна мастерской оба любили наблюдать, как с летного поля поднимались первые аэропланы. Зимой по очереди ставили в мастерской печку, так как работать могли только в тепле. В свободные вечера пили чай и погружались в воспоминания о родине. Шагал рассказывал о Витебске, о своем первом учителе Пэне. Нюренберга поражало самоотверженное трудолюбие друга.

Шагал вспоминал покосившиеся домики и заборы Витебска, лавку отца. Нюренберг – степные курганы на Украине и своего «душевного» друга Валентина Филиппова, с которым они зарывались в траву и читали стихи Блока. Он описывал Шагалу Одессу, где учился и где впервые увидел море, поразившее его юношеское воображение.

Целый год Нюренберг наблюдал за тем, как работал его друг. Его изумляло то, что в картинах художник шел не от натуры или академической школы, а от детских воспоминаний, первого жизненного опыта. Наблюдая за работой Шагала, Нюренберг впервые понял,

что можно рисовать по памяти, имея в голове уже готовую картину. Приехав в Париж, Шагал оказался восприимчив к новым веяниям и идеям. Фантастические персонажи и динамичность его картин свидетельствовали о знакомстве с итальянскими футуристами. Он постоянно развивал и обогащал свою палитру, став великолепным колористом, в чем Нюренберг угадывал влияние импрессионистов.

Для Нюренберга, как и для многих других живописцев, Париж явился пробным камнем его состоятельности. Он знал как тех, кого этот город прославил (Шагал, Сутин, Мещанинов), так и тех, кого он погубил. Нюренберг оказался беззащитен и одинок перед лицом большого чужого города. Многие из приехавших покорять Париж хотя бы первое время получали финансовую помощь из дома. Мещанинову помогал отец-портной, каждый месяц посылавший ему из белорусского местечка 64 франка. Шагалу довольно долго покровительствовал Лев Бакст (Нюренберг вспоминал, что при упоминании Бакста у Шагала появлялся блеск в глазах – как будто в его мыслях проносилось слово «деньги»). А Нюренбергу никто не помогал. Он пошел навстречу своей судьбе в одиночку.

Список юношей, чьи надежды оказались разбиты, был достаточно велик. Многие не выдержали испытания Парижем. Художников преследовали разочарование, потерянности и ощущение несостоятельности. Общая угнетенность усугублялась неустроенным бытом и отсутствием средств к существованию. Это приводило к болезням, некоторые начинали пить.

Нюренберг сам оказался близок к трагической участи. Холодные зимы в неотапливаемых мастерских и нерегулярные обеды привели к тому, что у него все сильнее стали проявляться признаки легочной болезни. Нюренберг был вынужден обратиться к услугам врач-туберкулезника Островского, у которого увидел коллекцию картин русских художников, сгоревших в Париже от чахотки.

Противотуберкулезная прививка начала давать первые положительные результаты, но Нюренбергу пришлось последовать совету врача и вернуться на Украину, чтобы восстановить здоровье. Временное, как ему тогда казалось, возвращение растянулось на всю жизнь.

Хотя и нелегко ему было проститься с Парижем, в дальнейшем он никогда не сомневался в правильности этого шага. Правда, позднее его нередко посещали грустные мысли и мучили вопросы:

«В Елисаветграде живут, преимущественно, мануфактуристы, бакалейщики и военные портные. С кем же я буду делиться своими мыслями о Мане, Ренуаре, Ван Гоге и Сезанне? ... Не слишком ли я раболепно следую за своей судьбой?»

А может быть, действительно Нюренберг чересчур поспешно сложил оружие и ретировался? Возможно, прав был его друг Жак Малик, который говорил: «Вспоминай о Париже. Ты его не поругивай... Он к тебе тепло относился. Ты просто его не понял...»

Эти мимолетные замечания можно интерпретировать и как свидетельство того, что болезнь была не причиной, а предлогом для возвращения в Россию. Возможно, за отъездом из Парижа стояла реалистическая оценка ситуации, возможно, принятое решение было ошибочным. Но в любом случае, Нюренбергу нужно было убедительное, в первую очередь для себя самого, объяснение своего возвращения.

\* \* \*

Пребывание в Париже расширило представления Нюренберга о жизни и искусстве, повлияв на всю дальнейшую профессиональную карьеру. Его любовь к французской культуре началась с первых дней по приезде в Париж, с первого посещения Люксембургского

музея, где он увидел полотна импрессионистов, завладевшие его воображением. В 1910–1920-е годы в Париже жили и работали Матисс, Модильяни, Пикассо, скульпторы Роден и Бернар. Изучив творчество французских мастеров, Нюренберг смог в 1924 году читать студентам ВХУТЕМАСа лекции о западном искусстве.

Во Франции Нюренберг научился много работать. Его поражало высокое качество работы французов, их, как он выражался, «культ труда». Друг Нюренберга, известный скульптор Жозеф Бернар работал в своей мастерской каждый день с утра до позднего вечера. Девизом Бернара служили слова его учителя, великого Родена: «Скульптура – терпение».

В Париже Нюренберг начал осваивать новые художественные приемы. Там он впервые познакомился с техникой карикатуры. Когда французские рабочие в 1911 году проводили забастовку, им потребовались агитационные плакаты и карикатуры. За помощью они обратились к русским художникам. Нюренберг никогда до этого не рисовал карикатуры, но ему не хотелось признаться в своем невежестве, и он начал самостоятельно осваивать искусство шаржа. На набережной у букинистов он находил великолепные литографии известных французских карикатуристов Домье, Гаварни, Форена. В газетных киосках покупал юмористические журналы и брал оттуда готовые клише, уже существующие технические элементы.

Позже он отмечал, что именно тогда понял в карикатуре самое главное. Он узнал, что хорошим карикатуристом может быть только художник с великолепной техникой, так как в этом жанре требования к совершенству рисунка особенно высоки. Он увидел, как с помощью карикатуры художник способен выразить все разнообразие жизни: как хорошие, так и дурные ее стороны. Он понял, что в основе карикатуры лежит ирония – самое страшное и беспощадное оружие для борьбы с пошлостью и несправедливостью.

В период Гражданской войны Нюренберг возглавил в Одессе Комитет по охране памятников и художественных произведений южнорусской школы, а в начале 20-х годов переехал в Москву и сотрудничал с Маяковским в Окнах РОСТА. Рядом с ним работал его друг, великолепный художник-карикатурист Леонид Малютин. Тогда знание карикатуры послужило Нюренбергу на пользу. Он вспоминал:

«Девять лет спустя, когда я уже в советской Москве связался с известной РОСТА и начал работать под руководством Маяковского (писал Окна Сатиры), я часто с большой благодарностью вспоминал парижскую рабочую забастовку, давшую мне первые уроки карикатурного искусства. Пожалуй, без этой подготовки я бы не мог справиться с техникой плаката».

В Москве 20-х годов Нюренберг сблизился с авангардной группой «Бубновый валет» и на долгие годы сохранил близкие отношения с ее вождем Кончаловским, Фальком и своим другом по Елисаветграду Осмеркиным. Он участвовал в совместных выставках группы и написал по просьбе «валетов» художественную декларацию. С «Бубновым валетом» Нюренберга объединяло увлечение французской живописью. Бубнововалетовцы называли себя русскими сезаннистами и считали Сезанна своим учителем. Влияние французской живописи сказывалось в использовании яркой палитры и экспериментах в области формы и композиции.

Нюренберг обладал незаурядными литературными способностями, которые проявились и развились также в парижский период. Свои первые тексты – репортажи с выставок, статьи о парижских салонах – он публиковал в газете «Парижский вестник». Впоследствии этот навык и общая эрудиция сослужили ему хорошую службу. В 1924 году известный искусствовед Павел Муратов рекомендовал Нюренберга в газету «Правда» как опытного художественного критика, дав высокую оценку его знаниям и компетенции. Позднее Нюренберг сотрудничал в «Литературной газете», в других органах печати.

Он выпустил две книги: «Поль Сезанн» (М., 1924) и «Воспоминания, встречи, мысли об искусстве» (М., 1969). Кроме того, он оставил после себя 600-страничные мемуары, составившие эту книгу. В значительной степени они посвящены жизни художника в Париже и французскому искусству и сохранили свежесть первых впечатлений и остроту оценок.

\* \* \*

Во второй раз Нюренберг отправился в Париж в 1927 году с несколько «реваншистским» настроением. Он поехал туда уже в другом качестве – как советский функционер, командированный министром просвещения Анатолием Луначарским. Нюренберг, активно участвовавший в революционных преобразованиях, увлекся происходящим и возлагал большие надежды на будущее. В Париже он должен был читать лекции о советском искусстве и заниматься пропагандой достижений Советской России. Он писал и посылал в советские журналы отчеты с выставок и статьи о событиях художественной жизни Парижа.



*1928 Париж. Амией Нюренберг*

Нюренберг следующим образом охарактеризовал цель второй поездки в Париж и своей культурной миссии: «Мне надо было внимательно наблюдать и изучать современное французское искусство, написать о нем цикл статей и прочесть лекции о нашем искусстве. Задача стояла большая, интересная и очень ответственная. Я охотно принял предложение Луначарского».

Художник уже почувствовал себя советским функционером и посматривал на эмигрантов свысока. Впрочем, покровительственные нотки по отношению к тем, кто намеревался покинуть Россию, проявлялись у него и ранее. Так, встретив в 1918 году на улицах Одессы писателей Бунина, Юшкевича и художника Нилуса, собравшихся уезжать за границу, он преисполнился негодованием к «переляканным».

«Но что можно поделать с людьми, испугавшимися Революции и не верящими в скорое наступление светлого завтра? Для кого Бунин и Юшкевич будут за границей писать стихи и романы? Кому Нилус будет продавать свои пейзажи?

Прошло десять лет. Поздняя весна. Париж. Монпарнас. Я захожу в кафе “Dome” (Купол) и наталкиваюсь на Петра Нилуса. Он меня узнал, остановился. Растерялся. Чуть покраснел. Потом, сделав усилие, овладел собой и холодно бросил:

– И вы сюда приехали!

– И я сюда приехал... Но я в командировке... Меня послал сюда Луначарский читать лекции о советском искусстве.

Он молчал. Внимательно и зло на меня поглядел и ушел. Я успел его разглядеть. Это был пожилой человек. Усталый. С белыми висками, с двумя морщинами меж бровей. Я вспомнил тот памятный сентябрьский день, когда Нилус вместе с друзьями прощался с родной и любимой Одессой и подумал: видно, эти десять лет, прожитых в Париже, здорово потрепали его».

В такой позиции можно увидеть своего рода моральную компенсацию за неуспех первой поездки. После неудавшейся эмиграции Нюренбергу хотелось приехать в Париж преуспевшим. Возможно, однако, что в глубине души он продолжал надеяться на новый поворот в жизни, верил, что судьба может предоставить ему еще один шанс. Хотя даже самому себе он боялся признаться в том, что приехал в Париж не ради официального задания Луначарского, а с безумной надеждой.



*1961. Посещение дачи скульптора Веры Мухиной. Амшей и Полина Нюренберг, Нина Нелина и Юрий Трифонов*

Зять Нюренберга писатель Юрий Трифонов был до последнего времени единственным хроникером жизни художника. Относясь к Нюренбергу не без некоторой иронии, Трифонов тем не менее уважал его и неизменно интересовался его богатой биографией. Образ Нюренберга появляется в московских повестях Трифонова: в «Обмене», «Долгом прощании», «Другой жизни». Нюренбергу посвящен рассказ Трифонова «Посещение Марка Шагала».

В повести «Другая жизнь» старый художник, прототипом которого послужил Нюренберг, так объяснял зятю, зачем во времена его молодости люди стремились в Париж:

«“Собственно говоря, я был в Париже дважды... Первый раз совсем мальчишкой, в десятых годах, но тогда я ничего не понимал... Второй раз – в двадцатых, был послан в командировку, тогда я понимал несколько больше...”

Как старый и много видевший на своем веку господин, Георгий Максимович хотел сказать вот о чем: в прежние времена люди стремились в Париж в двух случаях. Во-первых, когда были очень бедны, надеясь переломить судьбу и там разбогатеть, и, во-вторых, когда были очень богаты, желая промотать денежки».

В другом высказывании героя Трифонова слышны отголоски глубокого разочарования и самоутешения. Неожиданно, после восторженных воспоминаний, старый художник взгрустнул:

«Ну что вам сказать о Париже? – неожиданно вялым голосом проямлил Георгий Максимович. – Париж, конечно, красив... Но не более красив, чем Одесса, чем Киев... И ведь там нет ни Черного моря, ни Днепра, а Сена, честно говоря, довольно неказистая и грязная река... Лето там очень тяжелое, попросту нечем дышать...»

В рассказе «Посещение Марка Шагала» Трифонов довольно двусмысленно отозвался о цели второго пребывания своего тестя во Франции: «...жил в Париже в командировке, не знаю точно какой».

В короткой фразе угадывается намек Трифонова на возможное поручение Нюренбергу – наблюдать за эмигрантами и составлять письменные отчеты для Москвы. Но все это осталось на уровне намека, ничем не подкрепленного предположения. Если от Нюренберга и ждали подобной информации, то он или не до конца это понял, или сознательно саботировал задание. О русских художниках, живших в Париже, он никогда не отзывался плохо. Продолжал оставаться приверженцем западного искусства, с восхищением писать о барбизонцах, импрессионистах, а также об успехах своих русских и французских друзей – Мещанинова, Шагала, Бернара и других.

Правда, в Париже происходили некоторые странные истории, которые согласуются с предположением Трифонова. Однако Нюренберг их не скрывал, а при каждом удобном случае охотно рассказывал с искренней, а может быть, и нарочитой наивностью. И о том, как его приняли за «агента Москвы», и о том, как он ходил советоваться по разным вопросам с советским консулом во Франции:

«Первый доклад “10 лет советской живописи” я читал в кафе “Дюмениль” (бульвар Монпарнас, 73) под предводительством Вальдемара Жоржа. Доклад прошел удачно. Публики было много. Доклад мой слушали с явно выраженным интересом. Аплодировали. Казалось, начало неплохое. Но я глубоко ошибся. Направляясь после доклада к выходу на улицу, я был остановлен двумя подозрительными молодчиками. Один из них с надвинутой на лоб шляпой глухим басом прогудел:

– Ты – агент Москвы! В Париже выступать больше не будешь... не послушаешь – пожалеешь... – И, повернувшись ко мне могучей спиной, устремился к двери, где уже поджидал его дружок. Когда я почти вслед за ними вышел на освещенную улицу, их уже не было. Нетрудно было догадаться, что это была провокационная вылазка белых эмигрантов.

В 10 часов утра я уже сидел в приемной нашего консула товарища Голубя и рассказывал ему эту историю. Консул молча выслушал меня и, сдержанно улыбаясь, медленно сказал:

– Во избежание более неприятной истории, советую вам отказаться от докладов и переселиться в другой район, где меньше этих мерзавцев. Помните, что они могут любого не только избить, но и убить. От них можно всего ожидать. Это подонки Парижа. Даже мы их побаиваемся.

И после полуминутного молчания добавил:

– Ведь вы художник. Займитесь своей живописью. Выставляйтесь. Ходите по выставкам и музеям.

Консул был прав. Через день после разговора с ним я уже жил в рабочем районе Бастилии и писал этюд из окна моей светлой комнаты. Я всецело отдался живописи и изучению французского искусства. Я посещал музеи и салоны, частные выставки и мастерские старых друзей. Писал отчеты и посылал их в Москву»

В устном пересказе Нюренберга эта история приобретала дополнительные нюансы. Когда его окружили крепкие ребята и начали ему угрожать, он схватился правой рукой за карман, где обычно носили оружие (во время Гражданской войны Нюренберг служил в Одессе народным комиссаром искусств и умел обращаться с оружием). Нападавшие подумали, что

он собирается выстрелить, и бросились врассыпную. Путь был свободен, а Нюренберг спасен. Эта яркая деталь почему-то была опущена в письменном варианте. Возможно, ему не хотелось привлекать внимание читателя к своим комиссарским замашкам. А может, он действительно носил оружие и был в курсе того, что его миссия не столь уж безопасна.

Представляет интерес описание встречи Нюренберга с консулом. Похоже, тот считал, что художник вел себя неосторожно и обнаружил политические цели своего визита. Во избежание неприятностей и возможного скандала он переориентировал Нюренберга. Не исключено также, что такая развилка в сценарии была предусмотрена заранее. Как бы то ни было, Нюренберг с радостью снял с себя общественную нагрузку и стал заниматься любимым делом – живописью. Он опять сидел с этюдником на берегу Сены, навещал старых друзей, участвовал в деятельности парижских салонов. Под воздействием Парижа Нюренберг вновь начал эволюционировать как художник:

«Трудно в мои годы, при моих знаниях парижской жизни меняться. Но я здесь меняюсь и потому освежаюсь. Важно убить инерцию руки и, особенно, инерцию глаза».

После описанного случая Нюренберг, несмотря на отмечавшееся современниками ораторское мастерство, больше не выступал в Париже с лекциями. Он ограничился статьями об искусстве, встречами с друзьями и устной пропагандой советского образа жизни. Делал он это с искренним убеждением и с верой в родное государство. Со своими знакомыми из «бывших» увлеченно и красноречиво проводил разъяснительную работу:

«И поэтому я им рассказывал все, что знал о героических двадцатых годах. Я им рассказывал о Маяковском, с которым работал (Окна РОСТА). О своем друге и ученике, поэте и художнике Багрицком, об удивительном, душевном Бабеле, о талантливом Олеше и других. Это было время, когда каждый художник, скульптор, декоративист считал себя новатором, мечтал открыть новые пути и формы для советского искусства. Сколько на это было потрачено творческого жара!»

\* \* \*

Несмотря на искреннюю преданность советскому государству Нюренберг по-прежнему ощущал себя свободным художником. Эта двойственность видна и в его очерках о старых парижских знакомых. Он воспринимал их как своих близких друзей и даже делился с ними сомнениями по ряду деликатных вопросов. По отношению к друзьям со стороны Нюренберга не видно ни малейшего отчуждения и сохранена полная искренность чувств.

Наибольшего признания к тому времени добились Мещанинов и Шагал. Во второй половине 1920-х годов их успехи стали уже бесспорными. Оба художника были выходцами из Витебска, из простых малокультурных семей. И Нюренберг не раз задавался вопросом – откуда у «витеблян» столь высокое понимание искусства и тонкий вкус парижан?

Мещанинов был принят публикой и прессой, его скульптуры выставлялись в лучших галереях, высоко оценивались и успешно продавались. На опушке Булонского леса архитектор Ле Корбюзье построил для него двухэтажный особняк – первое здание известного мастера в Париже. Мещанинов имел ценную коллекцию картин и скульптур, из путешествий привозил произведения индийского искусства. Он первый начал покупать полотна Сутина, «открыл» его. Кроме того, Мещанинов был страстным любителем классической музыки, гордился своим собранием пластинок с произведениями русских композиторов и записями Шаляпина.

Слава и благосостояние не повлияли на характер Мещанинова. Он был по-прежнему открыт и доброжелателен к людям. Нюренбергу он помог выставить картины «Инвалид войны» и «Крымский пейзаж» в престижном Осеннем салоне, чем советский художник впоследствии очень гордился.

В том же 1928 году Нюренберг вместе с женой Полиной и маленькой дочерью посетил Шагала. Перед ними предстал парижанин в расцвете славы. О Шагале уже были написаны монографии и статьи. С одинаковым успехом он работал в разных жанрах и техниках, брался за офорты, театральные декорации, витражи, занимался книжной графикой – оформлял франкоязычные издания Гоголя, иллюстрировал басни Лафонтена.

Однажды Нюренберг принес Шагалу советский журнал «Прожектор» со своей статьей о старом друге. Тот был настолько растроган, что сделал ответный жест – подарил Нюренбергу книгу со своими иллюстрациями и офорт. Офорт Шагала долго украшал квартиру Трифонова. Трифонов сам неплохо рисовал и даже посещал в юности художественную студию. Но разбираться в искусстве, понимать художников и приемы их выразительности он стал благодаря тестю. Подарок Шагала он описал так:

«Из небывалой дали долетел и сохранился... автопортрет молодого Шагала, литография с карандашной подписью. Лицо было круглое, с безумным удивлением в глазах и странным образом перевернутое: оно казалось неестественно кривым, как бы на сломанной шее, и в то же время бесконечно живым. Лицо человека, застигнутого врасплох. И чем-то смертельно пораженного».

Думая о своей рано умершей жене, он также пользовался художественными образами Шагала:

«Я был женат на дочери Ионы Александровича (имеется в виду дочь Нюренберга Нина Нелина. – *О.Т.*). Мы прожили с ней пятнадцать лет до ее внезапной смерти на литовском курорте... Летающие любовники Шагала – это мы все, кто плавает в синем небе судьбы. Я догадался об этом позже».



*1928.Париж.*

*Жена художника Полина Николаевна Мамичева-Нюренберг (1894–1978)*

В 1929 году Нюренберг вернулся в Москву. Ему было чуть больше сорока и он не хотел снова становиться бесправным эмигрантом. К тому же казалось, что в Москве его ждали благоприятные перспективы – работа, большие дела. Он уже достиг известных успехов и надеялся продолжить начатое. Поездка с официальным заданием в Париж также должна была укрепить его статус в России, которой, как тогда многим казалось, принадлежало будущее. Если он и имел некоторые сомнения на этот счет, то они носили неоформленный характер,

и художник отгонял их от себя. Ему еще не было ясно, какая опасность грозила искусству, да и ему лично.

Нюренберг не мог или не решился окончательно уехать из России. Жалел ли он об этом в конце жизни? Об этом ничего не известно. И надо отдать должное его жене Полине, которая никогда не упрекала мужа в том, что он не стал делать художественную карьеру во Франции. Хотя, вероятно, она полагала, что судьба дочери, красавицы-солистки Большого театра, во Франции сложилась бы успешнее, чем на родине. По дороге Полина грустила. Она рассказывала, как, возвращаясь на поезде из Парижа в Москву и увидев на перроне деревенских баб с семечками, начала плакать.

Следуя «официальной» семейной версии, Нюренберг поспешно вернулся в Москву, поскольку Полина влюбилась в красивого и богатого француза. Русский балет входил в Париже в моду. Полина посещала балетную школу и получила сертификат о ее успешном окончании. Она хорошо танцевала и пользовалась успехом. Французы называли ее русской красавицей, «нашей Катей». Друзья Нюренберга, увидев его молодую жену в Париже, сказали: «Теперь мы понимаем, зачем ты ездил в Россию!» Перед Нюренбергом возникла опасность потерять сразу и жену, и дочь. Поэтому он поспешил увезти их на родину.

Но я думаю, что была и еще одна причина. Завоевать Париж оказалось нелегким делом. К тому же Нюренберг вполне преуспевал в России и был искренне привержен происходившим там переменам. История с Полиной просто подтолкнула его к принятию решения. В каком-то смысле повторилась ситуация 15-летней давности, когда болезнь послужила последней каплей, выдаваемой за главную причину.

\* \* \*

Вскоре после возвращения в Москву Нюренберг отошел от общественной жизни и замкнулся в ограниченном пространстве Дома художников на Верхней Масловке. Если в 20-е годы тон в советской культуре задавала молодая интеллигенция, выдвинутая революцией, то в 30-е ее оттеснила новая смена, выдвинувшаяся из самых необразованных слоев населения.

Парижу Нюренберг не изменил. Всю жизнь он оставался приверженцем французской культуры, не переставал восхищаться искусством и литературой Франции, отстаивал идеи импрессионизма, был защитником достижений Пикассо, Шагала, Сутина.

Критик А. Ромм в 1945 году писал:

«Нюренберг проникся принципами новой французской живописи и остался им по-своему верен в последующие десятилетия. Он принадлежит к числу тех, кто в первые годы революции содействовали проникновению французского искусства в СССР и поддерживали его влияние, сильно сказывавшееся до начала 30-х годов»

Из-за этого он имел много проблем. Начиная с 30-х годов импрессионизм был провозглашен антинародным буржуазным течением. Советские искусствоведы дружно заявили, что искусство импрессионистов оторвано от народа, что французские художники рисовали только этюды, а не станковые картины, что они следовали мимолетным впечатлениям, а не глубоко продуманным мыслям и идеям. Нюренберг с грустью отмечал, что в те годы каждый искусствовед «старался бросить в эту урну свой окурочок».

Друзья Нюренберга из «Бубнового валета», последователи Сезанна, подверглись гонениям. Художник Осмеркин был изгнан из Суриковского института, где преподавал. На открытом собрании его обвинили в формализме, после чего прямо в зале заседаний с ним случился инсульт. Кончаловского перестали выставлять, статью Нюренберга о его творче-

стве отказались публиковать. Вокруг Кончаловского образовался вакуум. Он не смог примириться с таким положением и прожил после этого недолго.

Шагал получил ярлык формалиста, и Нюренбергу сильно трепали нервы. Трифонов отразил это время в своем рассказе «Посещение Марка Шагала»:

«Он мало кому и рассказывал о знакомстве с Шагалом в 1910 году и тем более о встречах с ним в 1927-м. Это была полутайна. Полностью скрыть связи со злокозненным антиреалистом было, разумеется, невозможно, ибо все помнили, как в начале тридцатых Иону Александровича стегали публично на дискуссиях и в печати – отличался критик Кугельман, один из вождей изофронта, неподкупный и яростный, сгинувший лет через пять бесследно, – за вредоносный шагализм (термин Кугельмана), и бедный Иона Александрович каялся и отрекался и в доказательство искренности даже уничтожил ряд своих ранних вещей, в которых шагализм расцвел особенно ядовито. За двадцать лет было много чего: война, эвакуация, голод, смерть близких, тревога за дочь, прежние враги сгинули, новые народились, и незаметно, как ночной снегопад, упала старость, а все же ужас перед Кугельманом и шагализмом тлел неизменно, как задавленный детский страх перед темнотой».

Политическое давление усиливалось, противостоять ему было трудно и небезопасно. Я всегда недоумевала, куда исчезли работы Нюренберга, написанные в Париже. Оказалось, что он их попросту уничтожил, стараясь отмежеваться от поездки во Францию и знакомства с запрещенными художниками. У него оставались только две картины этого периода небольшого формата на нейтральные темы – городской пейзаж «Дворик музея Клюни» (где находилась знаменитая «обжорка», которую посещал и русские художники) и натюрморт «Устрицы». И офорт Шагала, с которым он не мог расстаться практически до самой смерти.

В какой-то момент Нюренберг просто отошел в сторону. Он не был ни коммунистом, ни официальным художником, но своими картинами отдавал дань официозу, в том числе создавая работы на ленинскую тему. Но почему-то Ленин у него всегда оказывался в Париже – «Ленин у газетного киоска в Париже» (1932), «Ленин на набережной Сены в Париже» (1935), «Ленин в Люксембургском саду» (1931), «Ленин у стены Коммунаров» (1946), «Ленин в парижском кафе» (1953). Складывалось впечатление, что Нюренберг шел на художественную мистификацию. Он хотел рисовать Париж, но во избежание нареканий в низкопоклонстве перед Западом и обвинений в космополитизме клеивал в Париж образ Ленина, создавая своего рода коллаж. По существу, рисуя Ленина в Париже, он воображал на его месте себя и в то же время как бы задавал предполагаемому зрителю вопрос: «Если уж даже Ленин бывал в Париже, то чего же вы от меня хотите? Какой с меня спрос?»

О том времени, когда набирала силу битва с «безродными космополитами», Трифонов вспоминал:

«Однажды в доме на Масловке он ударил по лицу художника Царенко, который сказал, что Шагал халтурщик, что он не умеет рисовать, – нет, не то чтобы ударил, а в приступе гнева и со слабым возгласом: – “Вы лжете!” – дал Царенко легкую пощечину кончиками пальцев, но и то был с его стороны отчаянный поступок, потому что вырвалось тщательно и давно скрываемое преклонение Ионы Александровича перед Шагалом, которое он всегда отрицал, на что Царенко ответил здоровенным тумаком, который сбил старика на пол, и радостным криком: – “Сам ты лжешь!”. Потом их делом занимался товарищеский суд. Я жил тогда на Масловке. Это было лето пятьдесят первого или, может быть, пятьдесят второго года».

Долгое время имя Шагала считалось в России запрещенным. Его картины не покидали запасников музеев. Несмотря на это, Нюренберг был в курсе того, что Шагалу поручили расписать Гранд-Опера в Париже, затем зал заседаний ООН в Нью-Йорке. Французское правительство построило для Шагала персональный музей в Ницце, каковой чести не удостоивался во Франции ни один другой русский художник. Обо всем этом Нюренберг узнавал, уже находясь в Москве, и это переполняло его гордостью за друга.

В 1974 году Нюренберг виделся с Шагалом в Москве. К этому времени Шагалу удалось добиться всего, о чем только может мечтать художник. Стоя в Третьяковской галерее рядом со своим другом, Нюренберг думал о прошлом. На него нахлынули воспоминания:

«Здесь, глядя на него, окруженного такой славой, я невольно вспомнил наше далекое прошлое. Париж. 60 лет тому назад. Была зима. Пронизывающие до костей туманы, холодные дожди и нескончаемые, мешавшие работать, простуды. Шагал и я боролись за теплую и сытую жизнь. И на Париж глядели, как на высокомерного врага...»

Шагал черпал силы в себе самом, о чем размышлял Нюренберг при встрече со старым другом:

«Не погружаясь в тягостное раздумье, не терзаемый мучительной тревогой за судьбу своего творчества, он делал все, что мог. Художник, не знавший разрыва между надеждой и уверенностью. И победил».

Нюренберг и Шагал следовали разным жизненным стратегиям. Шагал рассчитывал только на себя. Он был индивидуалистом, и Франция, где каждый был предоставлен самому себе, больше соответствовала его характеру. Нюренберг был человеком социального темперамента, его привлекала Россия, где его современники сообща делали историю и строили грандиозные планы на будущее. Ему казалось, что он нашел там свое место.

И в 80 лет он сохранял идеалы – верил в друзей и французское искусство. Он не имел ни сил, ни здоровья, ни положения, но старался все равно их отстаивать. Защищался как мог, выражая свой протест всеми доступными ему способами. Герой Трифонова порой восклицал с отчаянной бесшабашностью:

«“Ах, к черту! Надоело! Я им скажу все, что думаю о Марке: о его синем цвете, о неподражаемой фантазии. Ведь эта фантазия не имеет себе равных... Он подарил мне литографию в тяжелую для себя минуту... Разве я могу забыть?”»

Париж, друзья и впечатления того времени оставались смысловым стержнем жизни Нюренберга. Возможно, парижские воспоминания согревали и поддерживали его при полном уме и памяти, в моральном и физическом здоровье вплоть до смерти в 1979 году. Он дожил до 91 года и пережил свою дочь и жену.

\* \* \*

Жизнь дважды ставила Нюренберга перед выбором, дважды давала ему шанс остаться в Париже и попробовать сделать мировую карьеру. Оба раза он им не воспользовался. Первый раз он уехал, не желая рисковать своим здоровьем, второй – не желая рисковать семьей. Возможно, то были лишь оправдания, но он иначе оценивал ситуацию и по-своему видел перспективы.

Отказ Нюренберга от попыток завоевания Парижа был вполне рационален. Не ждала ли его в противном случае ранняя смерть неизвестного художника, сторевавшего от амбиций? С другой стороны, многие люди его поколения, обладавшие социальным темпераментом и

происходившие из низших слоев общества, искренне разделяли веру в торжество справедливого государственного строя. Да и профессиональные перспективы тоже казались тогда вполне радужными, ведь в 20-е годы советское искусство переживало бурный расцвет.

Нюренберг пробовал себя в авангарде, но в результате пришел к реализму, в котором неизменно прослеживалось влияние французского импрессионизма. Он одинаково увлекался производственной тематикой, портретами, пейзажами, политическими плакатами. Но живописные задачи всегда стояли у него на первом месте, отодвигая далеко на второй план все другие соображения. Его мемуары, пронизанные профессиональными ремарками, являют собой образец чисто «художнической» прозы, где нет места ни личным счетам, ни обывательским темам.

Нюренберг прожил долгую жизнь и всегда занимался искусством, делал то, что любил. Сопrotивлялся, сколько хватало сил, невежественному отношению к искусству. До последних дней увлеченно рисовал, а также писал о живописи, о творчестве друзей (Бабея, Маяковского, Багрицкого). По натуре он был неистребимым оптимистом. Он не жаловался на судьбу, не «гневил Бога», умел радоваться жизни. Говорил незадолго до смерти: «Когда просыпаюсь и вижу солнце, не хочу умирать!»

Амшей Нюренберг избегал сомнений и не задавался вопросом, почему он не воспользовался шансом остаться в Париже. Он ставил перед собой другие задачи, которые решал в России. Такой уж у него был характер, а, как говорят французы: «Характер – это судьба».

## Первые заказы

### Первый портрет

Сентябрьское утро. Я стою у открытого окна и по старой фотографии рисую портрет празднующего двадцатилетие общественной деятельности городского головы, богача Пашутина.

На двух связанных камышовой веревкой стульях, служащих мне мольбертом, большая кухонная доска. На доске белая, плотная бумага. Рисую цветными карандашами.

Портрет продвигается мучительно медленно. В лице Пашутина нет ничего такого, чем можно было бы увлечься и художественно воспроизвести. Ни одной приятной, живой черточки. Круглая, одутловатая маска. Под сонными, никогда не знавшими ни смеха, ни слез глазными щелями – большие мешки. Двойной подбородок. Время от времени отрываясь от надоевшего портрета, я сажусь на подоконник и жадно разглядываю яркую картину украинского базара. Видно, как с утра подвыпившие крестьяне лениво стаскивают с гор изумрудных арбузов и лимонных дынь рваные рогожи... Как в один ряд выстраиваются подъехавшие огромные арбы с пламенными помидорами, синими сливами и винно-красными яблоками... Как толстые торговки в цветных платках расставляют на столах огромные горшки с горячими «пшеничками» (кукурузами)...

Над всем этим – ярко сияющее, бездонное, нежно-голубое небо. Утренний ветерок доносит сладкие запахи спелых овощей и фруктов.

И волнует меня. Нестерпимо хочется выскочить из окна и броситься в гущу базара.

– Сынок, – слышу я шепот отца, – не отвлекайся. Времени оста лось немного. Через три дня юбилей, а после него твой портрет никому не нужен.

Отец сидит в старом кресле и курит толстую папиросу.

– Портрет, – добавляет он полушепотом, – принесет тебе, молодому художнику, деньги и доброе имя... Весь город заговорит о тебе.

Соглашаясь с отцом, берусь за работу, стараясь вложить в нее все силы.

Сегодня двенадцатый день однообразной, утомительной работы. Бывают дни, когда мне кажется, что ей конца не будет, что курносый толстяк навсегда поселился в нашей семье и никакой силой его не выгнать.

\* \* \*

Часто к вечернему чаю к нам приходил друг отца – Марк Грушко. Высокий, сухопарый старик в больших оловянных очках. Степенно усевшись в отцовское кресло, он несколько минут отдыхал и потом начинал рассказывать свои бесконечные, удивительные истории о людях, встречавшихся на его длинном и нелегком пути. Истории он ловко смешивал с притчами и афоризмами, наделяя все это грустным, искрящимся юмором.

Грушко был редкого умения и обаяния рассказчик. Порой мне казалось, что передо мной замечательный артист. Я любил его голос – мягкий и успокаивающий, любил его мимику, таящую в себе дружелюбность, но больше всего покоряли меня его руки: тонкие и страстные. Впервые в жизни я понял, что руки – второе лицо. Они также передают все душевные переживания. Есть руки, насыщенные добротой, героической красотой, эгоизмом, ревностью и страданиями... И не зря великие портретисты рукам модели придавали важное психологическое значение. Портрет модели без рук казался им неполноценным.



*1908 Одесса. Амией Нюренберг с братом Исайей Нюренбергом в мастерской*

Грушко мне много дал, обогатив мою юношескую душу. Это он мне привил романтическую любовь к некогда жившим и мужественно страдавшим безвестным людям. К их легендарному свободолюбию, трудолюбию, благородным обычаям и веселым нравам. Он великолепно знал их мудрые афоризмы, поговорки и беззаботные песенки. Обычно свои истории он заканчивал крылатой фразой:

– Они не знали ни горького хлеба, ни тяжелой смерти.

Часто думая об этих людях, я себе живо рисовал их лица, жесты, язык и даже одежду. Я дал себе слово, что когда подрасту и мастерски овладею кистью, то обязательно возьмусь за изображение этого ушедшего поэтического народа и отдам ему свой творческий труд.

Отец высоко ценил светлый ум и согревающий юмор Марка Грушко. «Его юмор, – говорил отец, – почти тот же ум, но с приправой совести, а совесть – золото...»

Обычными темами их бесед были: библия, политика и искусство. Когда дело касалось картины или рисунка, отец, чтобы получить авторитетную консультацию, обращался к Грушко. И теперь, чтобы правильно оценить мою работу, отец почтительно спросил его:

– Что вы, дорогой Марк, думаете о портрете Пашутина?

С минуту Грушко молчал. Потом, вскинув голову и актерски шуря левый глаз, произнес:

– Портрет, по-моему, идет хорошо. Вашему сыну удалось передать морду этого сытого мопса... Но я кое-что в портрете изменил бы...

Тут Грушко живо расстегнул свой длинный сюртук и из кармана бархатного пиджака достал оставивший в моей памяти яркий след свой знаменитый портсигар. Чудо ювелирной работы! На крышке в овальной рамке тонкими и смелыми штрихами была выгравирована сказочной формы птица с красиво изогнутым хвостом и фантастическим золотым гребнем. Чувствовалось, что гравер был большой художник и в работу вложил всю свою богатую душу. Грушко, конечно, знал цену своему портсигару и им гордился. Медленно открыв его, он вынул самодельную папиросу, долго мял ее и, артистически закурив, вдохновенно сказал:



*«Портрет отца»*

– Во-первых, я ему глазные щели открыл бы. Пусть он увидит мир и людей. Ведь живет он, как слепой... Во-вторых, я ему на мундире вместо пуговиц нарисовал бы, знаете что? – И, не дождавшись ответа, сказал: – Золотые червонцы.

Сдерживая улыбку, отец ответил:

– Вы, дорогой Марк, шутите, а я хотел бы от вас услышать что-нибудь дельное.

– Пожалуйста, – быстро ответил Грушко. – Могу сказать что-нибудь дельное.

И, критически взглянул на портрет, с притворной бодростью сказал:

– Вы, мой друг, верите, что этот разжиревший мопс способен понять искусство и помочь вашему мальчику? Какое непростительное легкомыслие! Вы затеяли пустое дело. Пашутин, как и все богачи, скуп и за ваш портрет больше рубля не даст. Вы хотите в кредит получить счастье? Наивная мечта!

Отец с Грушко не соглашался и Пашутина брал под свою защиту.

– Пашутин, – подбадривал себя отец, – известный богач и всеми уважаемый городской голова.

– Не смешите меня, дорогой Майор! – ответил Грушко.

После острого спора о роли мецената в жизни бедного молодого художника, отец и Грушко степенно усаживались позади меня и, пристально рассматривая в «кулачок» мою работу, обсуждали ее достоинства и недостатки. Нравилось мне, что свои высказывания они украшали веселыми анекдотами и изречениями из священных книг. Отец, считавший себя слабым знатоком изобразительного искусства, обычно следил только за чистотой работы. Его безобидные замечания касались того, чтобы не «чернить щеку» и «убрать на воротничке и манжетах грязные штрихи». Он был непримиримый враг мазков и штрихов, которые считал признаком моей профессиональной неопытности.

– Почему, – говорил он, – на картинах известных художников я никогда не видал мазков и штрихов? Хорошая художественная работа должна иметь поверхность гладкую, как шелк.

Марка Грушко как большого знатока искусства увлекали психологические стороны работы.

– Главное в портрете глаза! – вдохновенно говорил он. – Все в них! Настоящий талант всегда виден в умении изображать глаза, их душу.

И, дружески подталкивая меня локтем в спину, он с жаром добавлял:

– Дайте мне такие глаза, чтобы я мог сразу догадаться, кто изображен на портрете: добрый или злой человек, честный, благородный или делец, аферист... Поняли меня?

Эффектной концовкой его художественной критики обычно был увлекательный рассказ об одном воре, который забрался в богатую квартиру, наворовал много ценных вещей и уже собирался с ними удирать, но...

Вглядываясь в лицо отца, Грушко замолкал. После минутного молчания он затягивался папиросой и, понизив голос, продолжал:

– Вдруг вор случайно взглянул на висевший на стене портрет и растерялся... Из глубины портрета глядели такие пронизывающие глаза, что вор не выдержал их взгляда, бросил награбленное и панически бежал...

– Вот, что значит большой художник, – с торжеством заканчивал он свой излюбленный рассказ.

Во влажных глазах Грушко светился восторг. Отец и я слушали знакомую историю с благоговейным вниманием.

Мать не любила Грушко. Ее оскорбляли его богохульство, нескрываемый веселый цинизм. Но она избегала с ним заводить споры, боясь его острого языка. Однако бывали дни, когда ее терпение не выдерживало его непрекращающегося злословия и тогда, срываясь со стула, она кидала на пол недовязанный чулок со спицами и, угрожающе простирая к цинику свои гордые руки, гневно цедила:

– Когда у вас, богохульник, язык одеревенеет?

Остановившись в дверях, она с покрасневшим лицом шепотом добавляла:

– Вы в аду сгинете!

– А я, – язвительно отвечал Грушко, – в рай никогда не стремился... Там, бывалые и умные люди говорят, одни благочестивые, выжившие из ума старухи...

Выступал отец, чтобы не дать страстям споривших разгореться. Он дружески брал Грушко под руку и подчеркнуто любезно уводил его на веранду. Почтительно усадив своего

разволновавшегося друга на диван, отец начинал с ним вести беседу на какую-нибудь интересную тему: о судьбе Государственной Думы или о том, была ли у царя Соломона действительно тысяча жен и как он с ними уживался. Грушко успокаивался и охотно втягивался в беседу.

\* \* \*

Портрет, наконец, окончен. Я близок к счастью. В последний раз разглядываю свою многострадальную работу. Нахожу ее неплохой. Мне кажется, что удалось уловить сходство. Лицо вытушевано мягко, чисто. Воротничок и манжеты, словно январский снег, ослепительно белы.

Отец будет доволен. На новеньком мундире восемь сияющих пуговиц и четыре медали. Все в порядке. Одно только меня беспокоит – злая фраза Грушко: «Твоему сыну удалось передать морду этого сытого мопса». Что делать, чтобы смягчить это предательское выражение? Может, чем-нибудь приукрасить его лицо?

Впервые я столкнулся с проблемой приукрашивания модели. Позднее я эту тонкую и хрупкую задачу, не задумываясь, решал просто. Я мою модель делал чуть красивее. Я льстил заказчику. И он меня за это никогда не ругал.

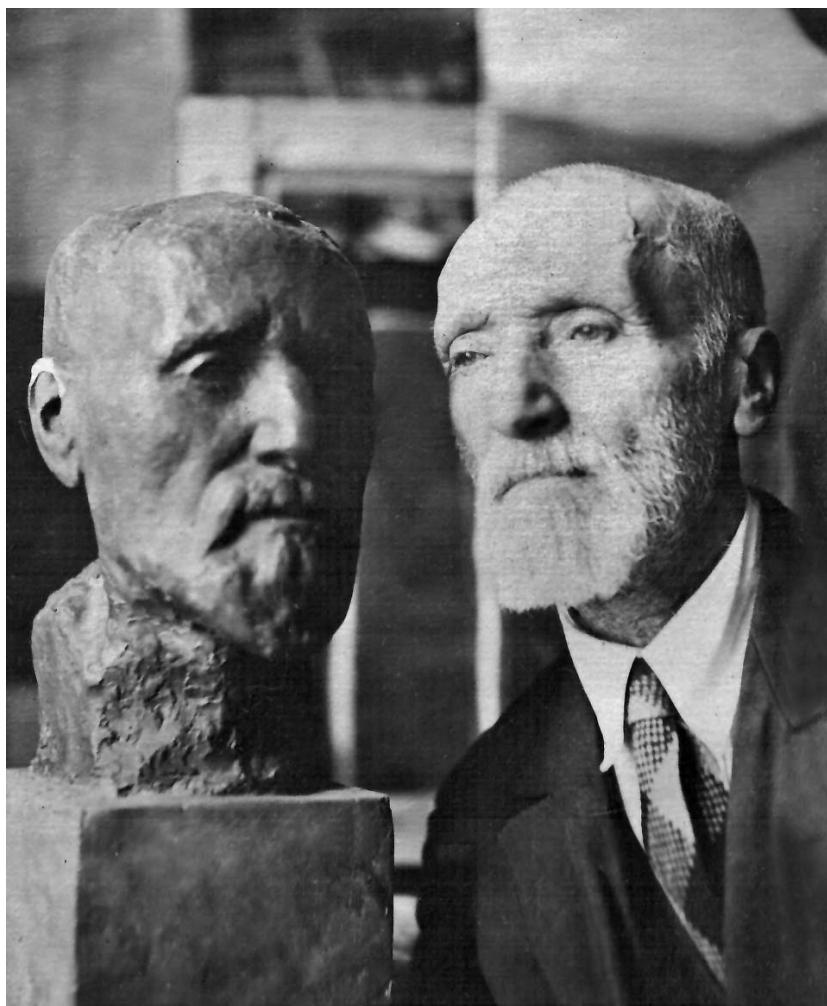
Но льстить Пашутину и сделать его более миловидным мне тогда казалось делом трудным и рискованным. Можно было сбить сходство и тогда пропадут все тщеславные планы отца. Я оставил портрет таким, каким он получился.

– Отец, – пристал я к нему, – скажи мне откровенно, Пашутин на портрете похож на мопса?

– Ничего подобного, – ответил он, улыбаясь, – он похож на себя.

\* \* \*

Предпоследняя ночь. Лег я спать поздно, но уснуть не мог. Мысль о том, что портрет мог не понравиться, жгла мой усталый мозг. Не спал и отец. Слышны были его протяжные вздохи и чирканье спичек. Он курил. О чем он думал? Какие радужные мысли одолевали неизменного искателя небольших, но верных радостей? Отец не любил авантюры и вниз головой не бросался в рискованные коммерческие операции. Он презирал шальные деньги и ценил только трудовой, потный рубль. Но, натерпевшись от полюбившей нас нужды, он все делал, чтобы с ней расстаться.



*Отец Нюренберга у бюста*

Временами ему казалось, что он обязательно оторвется от нее и заживет сытой и веселой жизнью. И тогда на нашей улице «скрипки заиграют».

Неудачи отец переживал болезненно, но долго печалиться не любил. Когда его одолевали неприятности, он говорил: «Скорее бы перескочить через них, и, оставив их позади, не оглядываясь, быстрым шагом идти вперед. Судьба недолюбливает сонливых людей».

Вдруг вижу: отец встает, гасит коптилку, зажигает большую настольную лампу, бесшумно придвигает к столу портрет и осторожно садится в кресло. Сухой желтый свет лампы отбрасывает на потолок и стену огромную тяжелую тень. Моментами на стене появлялась гигантская рука с карандашом, похожим на палку. Порисовав минут пять, отец склонял голову на бок и внимательно рассматривал свою работу. Он поправлял пуговицы...

\* \* \*

Последний день. Завтра толстяк нас покинет, ура!

Отец, любивший нашу тихую жизнь украшать яркими и веселыми затеями, решил на прощание с Пашутиным устроить вечер с обсуждением моей работы.

– Надо, – заявил отец, – узнать, что о портрете скажут люди. Мнение людей – самое верное.

И он устроил это удивительное обсуждение.

Вечером он пригласил своих друзей, усадил их за большой праздничный стол. Чтобы поднять в них бодрое настроение, он на стол поставил приветливо шумевший самовар, банку с вишневым вареньем и большое старинное блюдо с горой румяных маковых пирожков.

Председателем на этом незабываемом вечере был Марк Грушко.

Портрет был вставлен в золоченую багетную раму и убран цветными полотенцами. Висел он в глубине комнаты и выглядел торжественно.

– Дорогие друзья, – сказал отец, обращаясь к гостям, – я пригласил вас, чтобы, осмотрев работу моего сына, вы откровенно сказали, что в ней вам понравилось и что не понравилось!

Он рассеянно поглядел на портрет и, улыбаясь, добавил:

– А пока ешьте пироги с маком и пейте чай с вареньем.

И, погода, дружески добавил:

– Не стесняйтесь.

Гости ели и пили. Стол быстро опустел. Затем, весело разглядывая портрет, гости между собой шепотом начали делиться своими впечатлениями.

Первым выступил сапожник Савельев. Человек с добрым, открытым для всей улицы сердцем. О нем говорили: «У дяди Василия сердце и руки золотые». В Савельеве чувствовалась неукротимая сила. Говорил он быстро, с восхищением, даже с гордостью.

– Я, – начал он, – как вам известно, только сапожник. Двадцать пять лет делаю модельную дамскую обувь. Да, – он глубоко вздохнул, надвинул брови и добавил, – люблю все красивое. И свою работу стараюсь сделать красивой. Дамы любят мою работу.

Замолк, задумался и продолжал: – Когда я прохожу мимо магазина, где в окнах выставлены картины, я приклеиваюсь к этим окнам. Да, приклеиваюсь!

И, погода, добавил:

– Теперь я хочу сказать о работе вашего сына. Пашутин – как живой! Но нужно ли рисовать уродливых людей, если у них в кармане деньги, а на груди золотые медали? По-моему, не нужно... Разве в городе мало красивых и уважаемых людей? Возьмите доктора Резникова, похожего на артиста... Адвоката Симховича с лицом писателя! Я все сказал. Художник должен рисовать только красивых. Все!

Вторым говорил портной Арон Заславский, по прозвищу «задумчивый». Узкоплечий, с большой поднятой головой и всегда чуть прищуренными глазами. Это о нем Грушко сказал: «Всю жизнь Арон считал, сколько звезд на небе и никак не мог сосчитать».

«Задумчивый» Арон долго не решался выступить перед нами и только после того, как отец ему льстиво сказал: «Дорогой Арон, мы ждем от вас слов, пахнущих библейской мудростью», дамский портной полушутя, полусерьезно тихим голосом сказал:

– Я портной. Разбираюсь только в дамских платьях. Картины и портреты для меня чужой, незнакомый мир, но если вы уважительно просите что-нибудь сказать – скажу.

Задумываясь и подбирая слова, он сказал:

– Людей рисовать, по-моему, нужно молодых. У них огонь, сила, жизнь... Что хорошего художник найдет в старых, морщинистых лицах и сутулых спинах?

Арон замолк.

Грушко с места бросил ему: «Вы, Арон, кажется, давно уже дружите со старостью!» Арон смолчал. Потом он из кармана летнего пальто извлек модный журнал и, показывая нам его яркую обложку, с наигранным воодушевлением сказал:

– Взгляните на этих в весенних платьях красивых девушек. Красота!

Уставясь мне прямо в лицо, громко добавил:

– Вот, мой дорогой художник, кого нужно рисовать.

Вся его фигура выражала победную гордость. Последним говорил музыкант, наш старый друг Иосиф Кушнир. Кларнетист. Отец его уважал за редкостную страстность к книгам и называл его «ученым».

В городе о Кушнире отзывались с подчеркнутой улыбкой и добродушно подшучивали: «Он играет на бедных свадьбах и богатых похоронах». С полушутливым вздохом, хрипловатым голосом Кушнир начал:

– Дорогие и уважаемые друзья, должен вам признаться, что я с вами не согласен. По моему, художник, рисующий только молодых и красивых, не может знать всю нашу жизнь со всеми ее богатыми сторонами... Художник обязан глубже знать нашу жизнь. Я часто встречал красивых старых людей. Любовался ими. И понял, что морщины на их лицах – следы прожитых ими переживаний и страданий... Но разве, скажите друзья, художнику передавать переживания и страдания не интересно?

Он замолчал, взглянул на портрет, задумался и продолжал:

– Вы все говорили о красоте внешней, но вы забыли, что на свете существует еще одна красота – внутренняя, душевная. Мы, музыканты, призваны передавать красоту внутреннюю. Музыка имеет дело только с душой.

И, погодя, продолжал:

– Ваш Пашутин никому не нравится потому, что в нем нет ни внешней, ни внутренней красоты. Поняли?

– Я хочу еще сказать несколько слов, – он выпрямился во весь рост. – Мне приходилось порой встречать некрасивых певиц. Художник, наверное, в них не влюбился бы, а запоем такая певица, за сердце схватит и жжет. Не нарадуешься. Больше мне нечего вам сказать, дорогие друзья. Спасибо за внимание и уважение.

Обсуждение кончилось. Отец весело поблагодарил гостей. Приглашенные опять задымили и с шумом ушли на сумеречную улицу.

\* \* \*

Вышел во двор, чтобы приветствовать раннее утро. Весь двор был залит прозрачным золотистым светом. Молодые клены и высокая трава чуть пожелтели и уже грустно дышали ранним увяданием. За домом в тени цветы, мною посаженные и ухоженные. Моя гордость! На цветах еще лежала ночная роса.

Слышу возбужденный голос отца. Он меня ищет.

– Иду, – кричу я.

Отец стоит на пороге в праздничном летнем костюме и в соломенной шляпе.

– Спешу, сынок. Девять часов! – и, подумав, добавляет: – Я тебя до мостика провожу.

Портрет, завернутый в газету, в моих руках. Молча спускаемся к речке. У мостика остановились. Отец озабоченно разглядывает мои новые ботинки.

– Не ходи по камням, – шепчет он.

– Постараюсь.

– Бог в помощь...

– Спасибо, отец.

Он ушел. В конце мостика я остановился, чтобы поглядеть на отца. Он шел медленно с поникшей головой и о чем-то напряженно думал. В ходьбе он мне показался другим. Небо над ним выглядело жестким и недружелюбным.

Дом городского головы находился в конце Дворцовой улицы. Унылый, провинциальный особняк. Что-то в нем было от его владельца. Не без волнения я подошел к небольшой, точно приклеенной к особняку, дубовой двери. На двери потускневшая медная табличка с надписью: «Николай Васильевич Пашутин».

Несколько минут я простоял в раздумье: как вручить Пашутину портрет, и что ему сказать? С большой осторожностью я нажал кнопку. Через минуту дверь неохотно открылась и на лестнице, устланной малиновой дорожкой, стоял грузный швейцар.

Десять начищенных медных пуговиц на его ливрее сияли, как десять небольших солнц. На сиреневых, дряблых щеках – большие, как щетки, бакенбарды.

– Чего тебе нужно? – сонным голосом спросил он.

– Хочу, – упавшим голосом ответил я, – передать господину Пашутину портрет моей работы.

– Давай его суды.

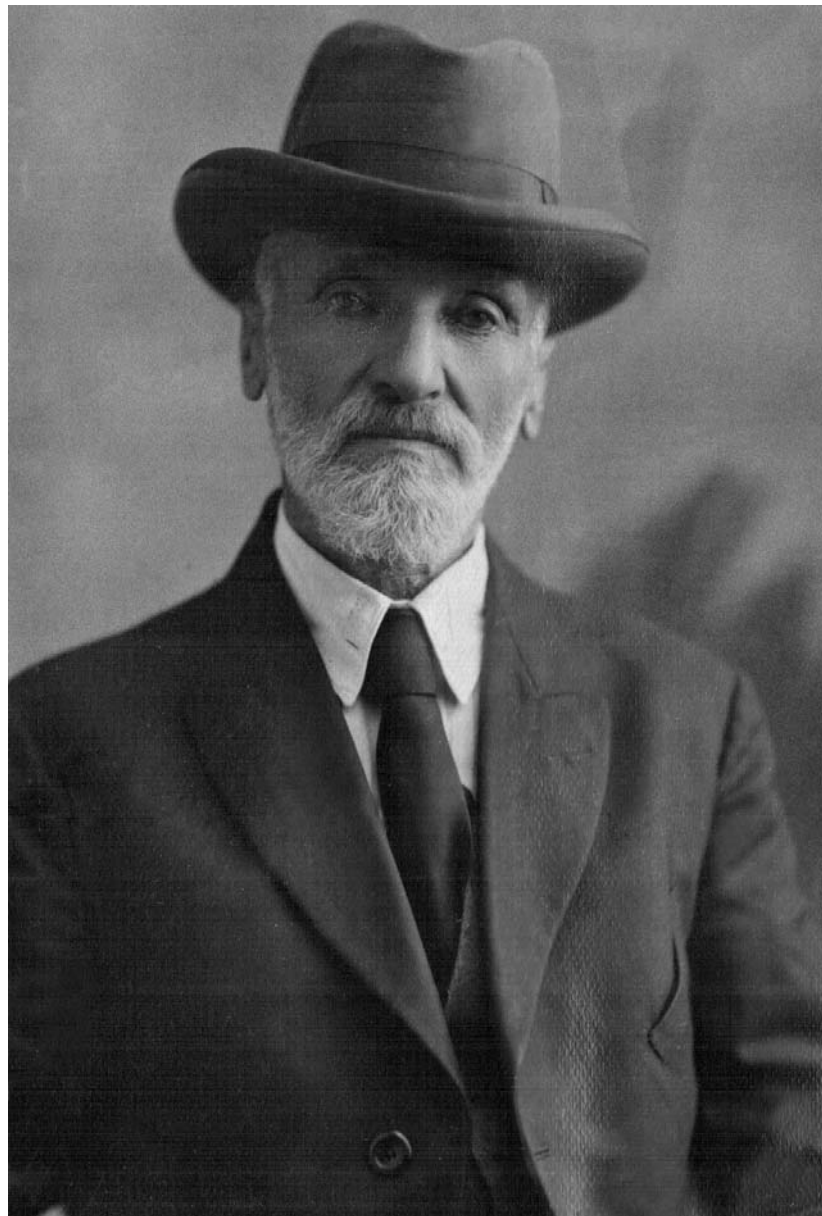
Я передал ему свой выстраданный труд.

Стуча сапогами, ливрея скрылась за дверью.

Я стоял на малиновой дорожке и, чтобы отвлечься и рассеяться, рассматривал пашутинскую домашнюю обстановку. На боковых стенах висели два поясных портрета, написанных масляными красками. Бородатый, с выпирающим животом и большими руками мужчина и бледнолицая, курносая женщина. На ней голубая кофта с богатыми кружевами. Очевидно, художник не стремился смягчить физические недостатки своих богатых заказчиков и писал то, что видел. Какой независимый, честный художник!

Ждать пришлось недолго. Минут через десять дверь открылась. Показалась ливрея. Она важно и мрачно приближалась.

– Василь Николаич велел передать тебе свою благодарность, – тем же сонным голосом сказал он. И, показывая своими рыбьими глазами на дверь, недовольно повторил, – свою благодарность...



*Марк Нюренберг*

Вмиг я понял, что случилось какое-то несчастье, что оно заполнит душу и долго будет причинять острую боль. Я потерял физическое ощущение моего существа. Но работа мозга не прекращалась. Первая мысль об отце. Что он скажет?

Я на улице.

Равнодушно глядели на меня дома, пожелтевшие акации, безработные извозчики. Пожилые люди в полотняных картузах и чесучовых костюмах куда-то спешили.

Долго я бродил по улицам и, усталый, зашел в городской скверик. На скамье отдохнул. Потянуло к фонтану с рыбками. Долго простоял я у фонтана, наблюдая жизнь золотых рыбок. Яркие, богатые переливами краски, радужный блеск чешуи. Их плавное, ритмичное движение меня немного успокоило. Но я чувствовал, что случившееся еще долго будет меня волновать.

Еще раз подумал об отце. Неудача его свалит с ног. Меня охватила глубокая жалость к отцу. Наверное, мой вид у рыбок вызывал сочувствие. Они подплывали ко мне и ласково, успокаивающе глядели на меня.

Были моменты, когда мне хотелось вернуться к Пашутину, забрать свой портрет и, жестоко выругав юбиляра, бежать... Бежать без оглядки, но для этого нужны были воля и силы, а их у меня не было. Я был опустошен.

Сердце мое усиленно билось. Я слышал его удары.

Поплелся за город. Потянуло к любимой речке Ингулу. Там, я думал, в лодке, привязанной к старой знакомой вербе, мне удастся забыть все происшедшее.

Я у речки. Лежу в знакомой лодке. Тужурка заменяет мне подушку. Свежий степной ветерок приносит ароматные запахи осенних трав. В вечернем бледно-зеленом небе поочередно величаво плыли большие, яркие, оранжевые с сиреневыми тенями облака. Мои старые друзья вербы поголубели. Все это мягко отражалось в речке. Прекрасный закат меня успокоил, и я уснул. Разбудила меня вечерняя речная прохлада. Боль в сердце стихла. Я впервые тогда познал успокоительное свойство заката. Я им долго наслаждался. И вдруг в еле заметном контуре плывшего против меня облака я уловил черты знакомого лица. Постепенно они стали вырисовываться, приобретая более отчетливые формы. Это был он... Низкий лоб, одутловатые щеки и ватные бакенбарды. Чтобы проверить правдивость увиденного, я закрыл глаза и вновь открыл их. Он! Он! Пашутин! Я встал и испуганно глядел на потрясшее меня явление, стремясь зрительно запомнить все детали страшного облака. Но через полминуты эту голову мягко закрыл крылатый дракон, и Пашутин исчез. Точно он растаял. Потрясенный виденным я решил направиться домой. Я спешил рассказать все отцу. Почему-то символическая история с облаком, мне казалось, его приятно удивит, отвлечет и немного утешит.

Надвигались сумерки. Из-за уснувших верб медленно и неохотно выбиралась необычайно большая луна. Золотая, обрызганная киноварью. Она удивленно взглянула на меня и стала быстро подниматься вверх. Потом она поплыла в сторону нашей улицы. Казалось, что она это делает для меня, чтобы проводить и успокоить.

Улицы были неузнаваемы. Производили впечатление больших театральных макетов, сделанных художником-фантастом. Мне чудилось, что я хожу по голубоватому, прибитому росой пеплу. Он лежал на крышах, деревьях и земле. Ленивый лай собак разрывал тишину сонных улиц. Луна, она уменьшилась и побелела, но меня не покидала. Вот и наш с тремя окнами дом, погруженный в дрему. В одном окне приветливый, дружеский свет. У забора знакомые две акации. Они слились в один черно-синий силуэт и кажутся искусственными. У калитки на лавочке – отец. Он меня ждет. Собираю остатки мужества и смело подхожу к нему.

– Добрый вечер, папа!

– Вечер добрый, сынок! Что, неудача?

– Да.

– Я так и чувствовал. Сердце подсказывало.

Я ему рассказал, как меня отблагодарил богач, городской голова, юбиляр Пашутин. Рассказал я ему также историю с облаком.

– Ничего, сынок, – сказал отец. – Это не удар. Это только пинок в спину. В жизни их у тебя будет много. Надо к ним привыкнуть. Не отчаивайся.

И, после небольшого напряженного молчания:

– Ты, сынок, выбрал трудную дорогу – дорогу искусства. Хлеб у тебя будет нелегкий и горький.

И, немного погодя, добавил:

– В ближайшие дни начнешь рисовать людей: красивых, некрасивых, простых и бедных. Но обязательно с красивой душой... А пока, – он смолк, махнул рукой и добавил, – пошли ужинать и спать. Завтра обо всем поговорим.

Я поужинал и внезапно почувствовал себя очень усталым. Лег, не раздеваясь. В открытое окно глядела моя милая, добрая луна. Она пришла меня успокоить и утешить. Я долго, неотрывно глядел на ее ласковый, побелевший лик.

Потом она ушла за раму окна. Стало грустно. «Спасибо тебе, – прошептал я, – дорогая луна...»

И уснул.

## Ювелирная работа

Я еще в постели. За окном бушует первая снежная метель. Большие, мокрые хлопья весело стучат в запотевшие стекла и прилипают к ним. В комнатке полумрак. За фанерной стеной, оклеенной нежно розовыми обоями, знакомые часы тяжело и протяжно бьют семь. Надо печку затопить, сбегать к старому лавочнику Менделю за белым с изюмом хлебом... Но первый снег нагнал на меня такую лень, что пальцем шевельнуть не хочется. Я лежу под своим ватным пальто и думаю о ненаписанных еще зимних пейзажах.

В мозгу живо расцветают и гаснут заснеженные улицы, переулки с притихшими почерневшими заборами, голыми деревьями, бледно-желтым вымороженным небом и одинокими фигурами спешащих людей.



1930. Отец художника Марк Нюренберг сидящий и курящий трубку. Бумага, уголь.  
34×23

Вдруг бесшумно открывается дверь и в комнату входит незнакомая пожилая женщина в тяжелом черном платке. Она медленно стряхивает с себя талый снег и, притапывая большими галошами, простуженным голосом спрашивает:

– Вы художник?

– Да.

– Я к вам.

Не дождавшись моего приглашения, она придвинула к себе стул и, усевшись, важно начала:

– У меня к вам большое дело. Только слушайте меня обоими ушами. Вчера я была у знакомых и видела портрет, нарисованный вами. Работа действительно художественная и сделана золотыми руками. Мадам Финкель – как живая. Вот-вот она откроет рот и что-нибудь скажет. Не буду много говорить. Я тоже хочу иметь такой художественный портрет.

– Хорошо, я вас нарисую.

– Сколько может стоить такой портрет?

– Пять рублей.

– В богатой багетной раме и со стеклом?

– Без.

– Дороговато...

Деловито оглядев комнатку, она продолжала:

– Конечно, я не мадам Финкель... Наследство, оставленное мне покойным отцом, не вызвало зависти в сердцах моих родственников. Я бедная, но гордая женщина. Торговаться с вами не буду. Я хорошо понимаю, что труд художника – это не труд торговца соленой рыбой. Пусть будет так, как вы хотите, – пять рублей, но...

Она вместе со стулом осторожно придвинулась ко мне и, наклонившись, тихонько прошептала:

– Но у меня к вам просьба.

– Какая?

Она сняла с себя платок и, прижимая длинную коричневую руку к ветхой лиловой кофте, прошептала:

– Нарисовать на моем портрете все то, что вы нарисовали на портрете мадам Финкель.

– Что именно?



*Нюренберг и Менаше*

– Золотые часики с монограммой и богатую брошь. Шикарную вязаную шаль, шикарное жабо.

Немного помолчав, поглядывая на запотевшее окно, задумчиво добавила:

– Пусть дети мои, когда подрастут, радуются. Им не будет стыдно за свою мать, за Хаю Медовую.

Через три дня я сдал моей заказчице портрет, нарисованный жирным итальянским карандашом на великолепной слоновой бумаге. На сухой и плоской груди сияли золотые часики с монограммой «Х.М.», а на тонкой, жилистой шее, обтянутой шелковым кружевным воротничком, славно покоилась огромных размеров золотая брошь. Взглянув на свой портрет, Хая Медовая протянула ко мне свои старческие сухие руки. Две большие розовые слезы торопливо понеслись по ее морщинистым щекам и медленно упали на кофту. Голосом, полным опьяняющего счастья, она воскликнула:

– Да, это настоящая художественная работа со всеми оттенками. Я всегда говорила, что художник, если захочет – все может нарисовать. Счастливый вы человек!

\* \* \*

Слухи о моих ювелирных способностях быстро облетели всю сонную улицу. На меня посыпались заказы. Незнакомые люди запросто останавливали меня, дружески хватали за плечи и сулили сказочные заработки. Я сделался героем целой улицы.

Вернувшись однажды из школы домой, я застал у себя незнакомую женщину. Она непринужденно сидела на кровати и кормила ребенка. Подогнув одну ногу, другую, полную и крепкую, в белом шерстяном чулке она вытянула по стулу. На столе и печке пестрели пеленки. Остро пахло потом.

Мой приход женщину ничуть не смутил.

– А я вас около часу жду, – не меняя позы, спокойно сказала она. – Меня зовут Рахиль. Я – вдова с двумя малолетними детьми. Хлеб мой тяжел и горек. Но я не пришла к вам жаловаться. Я хочу жить так, как живут все люди. Я тоже хочу иметь художественный портрет. Вы, я думаю, меня поняли?

– Хорошо, я вас нарисую.

– Но я не торговка. Каждая моя копейка залита потом и кровью, я не могу платить бешеных денег. Вы меня поняли?

Она глубоко и громко вздохнула.

– Да, я вас понял.



1924. Две женщины с детьми. Бумага, угольный карандаш, акварель. 21×24

– Вы мне должны сделать уступку и взять два рубля. И вы ничего не потеряете. Я вам белье постираю и заштопаю, пол вымою...

– Хорошо, – согласился я.

Она мягко улыбнулась. Небольшие, чернотелые глаза смотрели благодарным взглядом.

– Теперь я могу идти домой и взяться спокойно за свою работу.

Она встала. Быстро собрав свои тряпки, она ловким движением завернула в них ребенка и, шаркая по полу желтыми мужскими штиблетами, вразвалку пошла к двери.

В дверях она остановилась, обернулась.

– Да, совсем забыла... Я хотела бы, чтобы вы мне... кроме золотых часов с монограммой и броши нарисовали... – и, слегка покраснев, она почти шепотом добавила, – бриллиантовые серьги... Только не очень большие... лучше маленькие.

– Все будет сделано, – обещал я.

Невыразимая радость, наполнившая до краев ее сердце, осветила ее круглое, мясистое лицо. Изливая свои чувства, она крепко прижала к себе ребенка и стала целовать его, звучно причмокивая. Она приходила ко мне ежедневно. С ребенком и узелком, туго набитым тряпками. Непринужденно усевшись на мой единственный стул, Рахиль медленно расстегивала изумрудную вязаную кофту и, ловко вынув свою могучую, розовую грудь, с каким-то подчеркнутым достоинством счастливой матери начинала кормить ребенка.

Меня в ней поражали не только груди, но и великолепной рубенсовской формы шея и колени. Глядя на Рахиль, я часто думал, что для живописи она олицетворяет неувядаемый образ еврейской женщины. Я рисовал ее цветными грифельками на французской шероховатой бумаге.

Чтобы развлечь меня, она негромко напевала еврейские песенки. Чудесные песенки бедноты, в которых чувствовалось никогда не унывающее веселое сердце. Часто вскакивая, она клала ребенка на кровать и, подойдя к портрету, волнуясь, тихо спрашивала:

– Скажите, художник, будет ли всем ясно, что в ушах моих настоящие бриллианты?

– Будет, – заверял я ее.

– Подумайте, – победно улыбаясь, повторяла она, – за каких-нибудь два рубля вы меня делаете нарядной. Вы – чародей.

Портрет не удавался мне. Чем больше я тратил сил, тем слабее были его качества. Заказчица в конце концов это почувствовала. Наблюдая мои трудовые усилия сделать работу эффектной, она с нескрываемым огорчением заметила:

– Я знала, что бриллианты невозможно передать, как в натуре.

Художественная слава меня начала утомлять. Порой я помышлял бросить свою улицу и переселиться в другой район, где меня не знают и где можно отдохнуть от пятирублевых портретов, срисованных по фотографии. Я мечтал о больших портретах, написанных на полотне масляными красками и с натуры, мечтал о молодых моделях с крепкими, свежими руками и ногами. Это были, разумеется, девушки в легких развевающихся платьях и в дорогой изящной обуви. Таким девушкам, конечно, не нужны были ювелирные портреты.

Пришла весна. Непреодолимо потянуло к морю. Каждое утро я уходил на Ланжерон. Бродил по влажному песку и жадно вдыхал крепкие запахи проснувшегося моря. Под ослепляющими лучами апрельского солнца цвели и горели необъятные пространства воды и неба. На берегу, покрытом уже молодой зеленью, сустились голубовато-розовые фигуры рыбаков.

Мягкий лирический пейзаж вызывал у меня чувство душевного покоя. Забывались неудачи, бедные, но требовательные заказчицы.

В конце апреля мне удалось найти наконец долгожданный заказ. Правда, он не совсем совпадал с моими мечтами, но я понимал, что, приобретая реальные очертания, мечты очень деформируются.

Большой, в натуральную величину, во весь рост, портрет молодой женщины. Жена какого-то разбогатевшего честного адвоката. За работу, в случае удачи, заказчик обещал уплатить пятьдесят рублей. «Пятьдесят рублей», – повторил я. Сумма казалась мне головокружительной. Заказ мне был дан адвокатом в письменной форме, с подробными указаниями, что и как я должен писать.

На большом листе плотной кремовой бумаги мелким, скачущим почерком было написано:

«Жена моя, Раиса Моисеевна, должна быть изображена у большого концертного рояля. На рояле стоит дорогая хрустальная ваза с большими розами. Голова жены немного повернута в профиль, усталые руки ее красиво лежат на клавишах. Раиса Моисеевна будто только что сыграла какую-то сильную симфонию и, задумавшись, мечтательно разглядывает висящих перед ней на стене любимых композиторов – Шопена, Грига и Чайковского».

Ниже было написано:

«Рядом с композиторами художник обязан в уменьшенном виде нарисовать меня.

И еще: портрет должен быть выполнен в радостных, как жизнь, ярких тонах и в гладкой манере.

Самуил Блох».

Я принял все условия и с жаром взялся за работу. Первые дни модель моя – Раиса Моисеевна, невысокая, крепко сложенная, живая брюнетка – позировала охотно. На ней было шелковое, пепельного цвета платье с большим вырезом на высокой груди. Она сидела легко и спокойно, много болтала, но это не мешало мне писать. Увлеченный работой, я не всегда внимательно слушал ее пестрые, путанные рассказы. Она не сердилась на меня за это.

– Вы сейчас витаете в облаках, – иронически улыбаясь, говорила она. – Творческий экстаз, бурные взлеты фантазии... Все понимаю.

Как-то прищутив глаза, с чувством произнесла:

– Ближе к земле, художник. Она не так скучна, как небо.

За несколько дней она успела с мельчайшими интимными подробностями рассказать мне о своей бурной молодости, о своих неблагодарных подругах и многочисленных неверных друзьях. О муже она говорила с подчеркнутой иронией.

Мне нравились порывистые движения ее хорошо посаженной головы, тонкая форма рук и неровная, нервная речь. Чувствовалось, что она много перенесла и передумала. Я начал привыкать к ней.

Работа шла удачно. Моментами мне даже казалось, что я близок к рисовавшейся мне столько времени победе. Единственно, что меня беспокоило, это техника моего письма – мазки. Как назло, они получались широкие и густые. Самуил Блох, я знал, будет ими недоволен. Но я не мог связать себя. Яркие масляные краски, новенькие кисти, большой зернистый холст и, наконец, молодая модель – все это на меня так подействовало, что мазки получались сами собой. Спустя две недели я начал замечать, что модель моя позирует с ленцой. Вынужденное сидение на круглом (без спинки) стуле, видимо, утомляло ее. Возможно также, что, исчерпав все темы для своих рассказов, она потеряла и вкус к позированию. Чтобы спасти работу, я сделал перерыв на несколько дней. Не теряя пока времени, я взялся за композиторов и Самуила Блоха. Написав их (мне они также показались удачно выполненными), я пригласил Раису Моисеевну и показал работу.

Увидев портрет, Раиса Моисеевна пришла в ярость. Большие красные пятна вмиг расплели на ее бледно-смуглом лице. Не глядя на меня, она сквозь зубы процедила:

– Кто вам велел такую глупость сделать? Этот кретин?

С искривившимся ртом прошипела:

– Он с ума сошел. Рядом с Шопеном и Чайковским такого мещанина, пошляка. Подумайте, что вы сделали?

После короткой паузы:

– Сейчас же замажьте! При мне сделайте это! Сейчас. Слышите? Не сделаете – порву ваш портрет на мелкие кусочки.

Чтобы успокоить ее, я взял кисть, развел на палитре светло-охристую краску и покрыл ею изображение Самуила Блоха.

Узнав об этом, заказчик мой бросился ко мне.

– Исправить можно? – задыхаясь, спросил он.

– Разумеется, – успокоил я его.

– А я думал, все пропало, – продолжал он, сильно волнуясь.

Он порывисто подошел к портрету, остановил долгий, пристальный взгляд на нем, потом скользнул глазами по палитре, лежавшей на стуле, и потрясшим меня голосом сказал:

– Подумайте, это делает самый дорогой мне человек. Моя надежда, цель жизни... Теперь она – известная пианистка, а когда я пятнадцать лет тому назад встретил ее, это была

забитая местечковая девушка в рваном ситцевом платье и истоптанных шлепанцах... Подумайте – пятнадцать лет я ее воспитывал, учил, кормил, одевал... Сколько мне это стоило сил, здоровья и денег. Сколько раз я волновался... И вот мне благодарность. Я – мещанин, сумасброд. Чем я ей мешаю на портрете?

Глаза его стали влажными.

– Я вас очень прошу почистить мой портрет.

Глубоко вздыхая и понизив голос, добавил:

– Она не любит, когда ей напоминают о ее прошлом... А мой портрет о многом напоминал бы ей...

Самуил Блох съежился и дрожащими руками растирал крупные слезы.

Эта семейная сцена тяжело подействовала на меня и вызвала глубокую жалость к нему. Передо мной стоял опустошенный, раздавленный человек. Надо было что-то сказать ему, но я не был искушен в семейных делах и не находил нужных слов.

## Макс

В конце октября на берегу моря я познакомился с одним молодым человеком. На нем было великолепное шелковистое пальто и такая же шляпа. Он сидел под скалой, спрятавшись от холодного ветра, и курил сигару.

Выцветшие лучи осеннего солнца играли на серебряной ручке его трости. За его спиной виднелось остывшее уже море с жесткими синими красками.

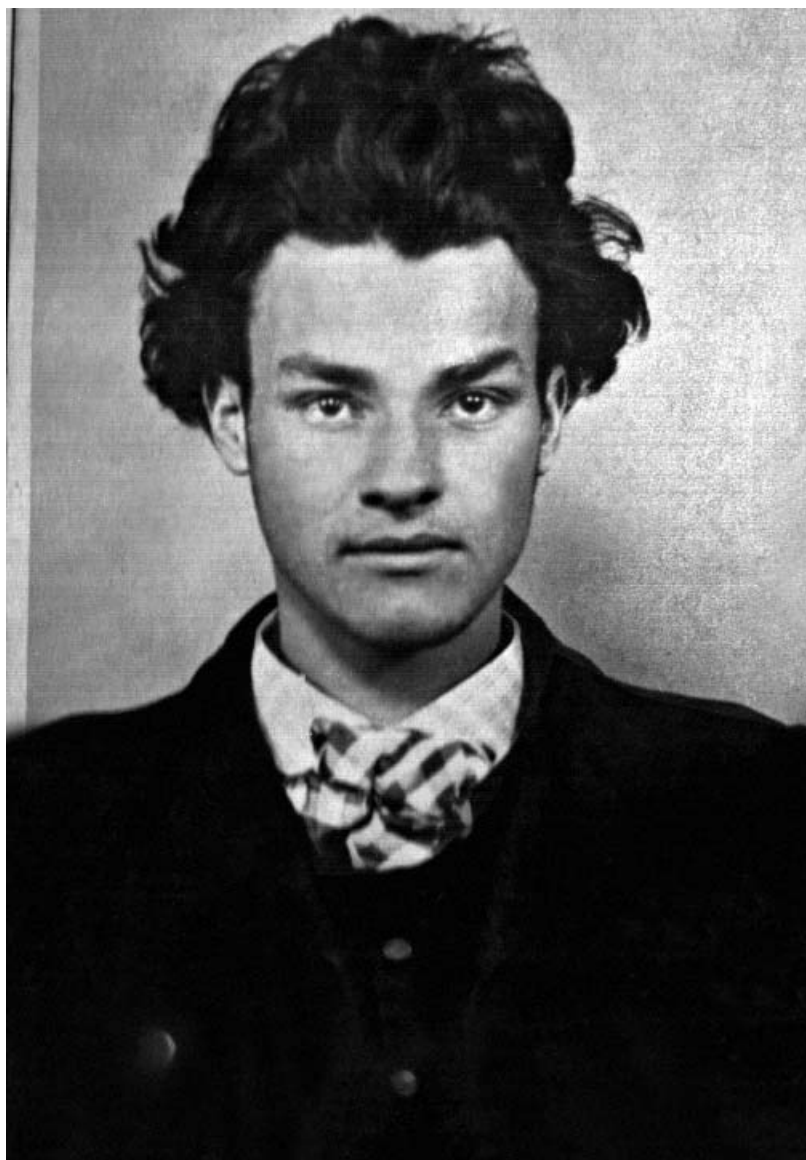
Узнав, что я художник, молодой человек предложил мне писать с него портрет, обещая хорошо заплатить.

– Я не миллионер, – сказал он мягко и певуче, – но я заплачу, как богач. Приходите ко мне. Я люблю художников.

Он дал мне свой адрес, крепко пожал мне руку (мягкая, теплая рука) и походкой человека, у которого жизнь хорошо налажена, ушел в город.

На следующий день утром я пришел к нему в гостиницу «Венеция», где он занимал просторный, светлый номер, и, получив авансом десять рублей, приступил к работе.

Мой новый заказчик был очень живописен. Широкие, прямые плечи, удлиненное коричневое лицо, светящиеся глаза и с черным отливом губы. Его звали Макс.



*Амией Нюренберг 3 февраля 1908 г.*

*На обороте надпись «На Дерибасовской ночью после жестокой выпивки»*

Я приходил к нему через день. С мольбертом и этюдным ящиком.

Позировал он, как профессиональный натурщик. Он был блестящий рассказчик. Небольшие, бесцветные, казалось бы, события приобретали у него форму и смысл значительных явлений. Разумеется, многое из того, что он рассказывал, было взято им у других, но взято с большим умением и тактом. В рассказах он всегда выступал как щедрый и добрый малый. С завидной, непостижимой находчивостью он умел превращать печальное в веселое. За все время писания портрета я ни разу не видел этого человека в плохом настроении, раздраженным. Всегда спокойный, улыбающийся, услужливый, с мягкими, добрыми жестами. О людях он отзывался тепло. Я не помню, чтобы он о ком-нибудь говорил плохо.

Он знал толк в женщинах. Умел рассказывать о них ярко, образно, с неиссякаемой нежностью.

Он рассказывал, и я, часто отрываясь от работы, жадно глядел на него и с удивлением слушал. После сеанса он обычно говорил мне своим придушенным голосом:

– Не спешите. Мы с вами выпьем, закусим, поболтаем.

На столе, покрытом бархатной пестрой скатертью, появлялись оклеенная заграничной этикеткой, забавной формы бутылка, два хрустальных бокала с тоненькими ножками, дорогое фабричное печенье и невыразимого стиля коробка с сигарами.

– Пейте, ешьте и курите, – улыбаясь, говорил он. – Люблю художников. С ними не пропадешь. Я коммивояжер, но в душе всегда был художником.

С выражением величайшей расточительности он наливал в мой бокал густое красное вино, клал передо мной оклеенную золоченой этикеткой, источавшую нежный аромат сигару.

Часто после угощения он подавал мне вчетверо сложенную пятерку, с побеждающей дружелюбностью говорил:

– Вам, друг мой, вероятно, деньги нужны. Это пойдет в счет работы.

Однажды, когда я, окончив работу, вытирал палитру тряпкой и готовился сесть за волнованный меня стол, в дверь тихо постучали:

– Войдите, – сказал Макс.

Вошли трое. Один высокий, грузный, с жидкими усами и лиловым лицом и двое невысоких в мятых, жеванных костюмах. Лбы у всех были низкие, мрачные.

Высокий внушительно повернул ключ в двери, глухо кашлянул, не спеша подошел к Макс и, ухмыляясь, прогудел:

– А мы, господин Моисей Исаич, к вам. Принимайте гостей!

– Пожалуйста к столу, – спокойно ответил Макс.

Высокий подошел к столу, взял бутылку и, многозначительно разглядывая этикетку, произнес надменно:

– Нет уж, мы с вами выпьем и закусим в другом месте. А ты кто такой? – обратился он ко мне. Его лиловое лицо приняло брезгливое выражение.

– Это художник. Мой хороший знакомый. Он пишет с меня портрет, – ответил за меня Макс.

Высокий недоверчиво взглянул на меня, потом на Макса и залился смехом. У него прыгали лиловые щеки и рыхлые плечи.

– Портрет Моисея Казацкого. На какую же выставку вы думаете послать его. Парижскую? Замечательно! – потрясал он номер своим гулким голосом.

– Так, так, так. Ха-ха! Скоро, значит, мы увидим портрет известного контрабандиста Моисея Казацкого. Очень, очень интересно. Может быть, вам дадут золотую медаль на шею. Очень интересно, – продолжал он гудеть.

Я ощущал оглушающий удар в самое сердце. Трудно было принять все это. Первая мысль: пропал мой победоносный портрет, хвалебные отзывы в газетах и заказы. Все пропало. Минута – и мне казалось, что это инсценировка. Что трое незнакомых мне людей в отвратительных масках – актеры, блестяще разыгравшие сцену из какой-то пьесы. Сейчас все кончится. Они уйдут. И мы с Максом опять всласть будем пить густое красное вино и курить ароматные гаванские сигары... Но эта минута проходила, а люди в масках не уходили.

Пока высокий с лиловым лицом гудел, двое других открыли шкаф и начали степенно рыться в ящиках.

Макс, величественно сидя в кресле, спокойно курил сигару, пуская правильные круги голубого дыма.

– Ну, как ваши успехи? – дружески обратился он к рывшимся в ящиках. – Нашли что-нибудь вкусное?

– Довольно ломаться, – вдруг сухо заговорило лиловое лицо. – Собирайтесь, пойдемте. Проверим, какой это художник, который малюет контрабандистов. Знаем их. Снаружи для виду художник, а внутри – аферист... И с вами покалякаем, господин Казацкий.

Близко подойдя ко мне и нацеливаясь глазами в мои глаза, мрачно буркнул:

– Собирайся! Ну!

Вместе с Максом меня поволокли в старое, мрачное помещение, расположенное на углу Преображенской и Полицейской улиц. Утомительно и долго допрашивали. Макс дал стул, и он с большим достоинством сел на него. Мне приказали стоять и руки держать по швам.

– Художник, повторяю вам, здесь не при чем, – спокойно и улыбочиво, как всегда, говорил Макс. – Что вы пристали к нему? Отпустите его.

Меня отпустили.

Спас меня ученический билет.

Выйдя из протухшего помещения на солнечную улицу, я улыбнулся равнодушному к моим событиям ослепительному голубому небу и поплелся домой. Два дня я с утра до ночи бродил по порывевшим уже осенним берегам, стараясь забыть о происшедшем.

После случая с Максом я, признаюсь, перестал думать о богатых заказчиках.

Я вернулся навсегда к моим бедным молдаванским еврейкам. Они меня встретили так, как встречает на известной картине Рембрандта отец своего блудного сына.

– Вас ждут большие заказы, – сияя, сказала мне моя квартирная хозяйка.



1956. Мать с ребенком и сидящий за столом мужчина. Бумага, чернила, акварель.  
38×39

## Профессор Бомзе

Одесса, 1911 год. Нежно-голубой вечер. Сажу на берегу моря и пастелью пишу белые с высокими охристыми парусами яхты. Вдали, под крутой синеющей горой, люди и дымок. Вероятно, готовят уху.

Для художника – романтическая тема. Вдруг позади меня громкий, веселый голос:

– Наконец вас поймал! Полгода ишу. Есть для вас интересная и благородная работа – портрет моей покойной дочери...

– Охотно берусь.

– Приходите, договоримся. Вот мой адрес. Жду вас завтра в это же время.

Он оторвал листок из блокнота и карандашом быстро написал: Софиевская, 1б, квартира 8, профессор Бомзе. И, передав листок, бросил:

– Жду вас!

– Обязательно приду, профессор.

Затем, извинившись, что оторвал меня от творческой работы, растаял в вечерней голубизне.

Заказ перед поездкой в Париж был очень нужен, и я не заставил себя долго ждать. На второй день вечером я зашел к профессору. В его светлом кабинете, заставленном стеклянными шкафами, остро пахло нафталином и табаком. Пол был устлан выцветшими украинскими коврами. В углах стояли мощные, гордые фикусы.

Профессор открыл один из шкафов, достал большой, обвязанный шелковой лентой пакет. Дрожащими руками развязал его и с величайшей осторожностью вынул серо-розовое платье. Оно было подобно куску застывшего розового облака.

– Вот ее любимая шляпа, туфельки и фотографии, – сказал он упавшим голосом.

Я взглянул на него. Глаза его были полузакрыты, и кончики мягких усов вздрагивали.

– Может быть, не стоит рисовать портрет? – тихо спросил он. – Я думаю, фотограф не сможет воспроизвести ее тонкий облик. Как вы думаете? Я верю, что только художник-портретист сумеет передать ее образ и состояние.

Я молчал.

– Пишите, – сказал он полупшепотом. Он никак не мог решиться отдать мне в руки дорогие для него фотографии и вещи.

– Пишите, – повторил он, волнуясь. – Но вы не должны прикасаться к моим вещам. Это мое условие. Вы согласны?

Я согласился.

Каждое утро он в кожаном чемоданчике приносил платье, шляпу и туфли. Страхивал с них серебристые чешуйки нафталина и раскладывал все это на стуле. Потом он устраивался на подоконнике у окна, задумчиво разглядывая за окном цветущие белые акации. Много курил и изредка произносил отрывистые слова.

Он внимательно следил за моей работой и щедро давал советы. Критиковал, иронизировал, мешал мне сосредоточиться и уловить то неуловимое, что было в этих пожелтевших фотографиях и что видел он и не мог увидеть я.

Чувствовалось, что работа моя его волновала, что он жалел о затеянном. После сеанса он долго и осторожно укладывал вещи в чемоданчик и несколько минут, шурясь, простаивал около портрета.

Склонив голову, он глухо, с возмущавшей меня непочтительностью, спрашивал:

– Штрихи останутся?

– Нет, их не будет. Это подготовка...

– Глаза уже сделаны? В них нет жизни! Это не ее глаза! Они не светятся! – У него начинали трястись руки и я, подавив в себе раздражение его разговорами, начинал снова переделывать и переписывать лицо его Леночки. Как-то придя ко мне, он, волнуясь, спросил:

– Не думаете, что лучше было бы написать мою Леночку на фоне цветущих акаций? Это было бы очень поэтично! Вы изобразили бы два цветения.

– Впрочем, – добавил он шепотом, – не нужно теперь усложнять работу. Вы замучаетесь...

Поглядев куда-то вверх, он тоскливо продолжал:

– Да, вы правы. Кончайте портрет. Я не дождусь конца...

Немного погодя, он повторил:

– А насколько это было бы поэтичнее – показать две жизни, два цветения... девушки и акации.

Слишком трудную, почти невыносимую задачу ставил он передо мной. Меня утомляло его курение, раздражали высокомерие и равнодушное непонимание живописи, но я должен был закончить эту работу и получить за нее плату.

Больше всего я работал в минуты, когда он, досыта накурившись, впадал в состояние, похожее на забытие. В такие минуты я выжимал из себя все, что мог. Палитра моя пестрела красками, и я радостно и быстро старался что-то поправить и улучшить.

Придя в себя, профессор тупо рассматривал портрет и снова начинал меня терзать.

– Нет, нет. Теперь для меня уже ясно: живопись – это выдумка.

И, погодя, добавлял:

– Мы на разных точках зрения. Вы думаете о красивых, колоритных красках, о подмалевках, о темпераментных мазках, а я мечтаю на холсте увидеть свою любимую дочь, дорогую Леночку... свою незабываемую Леночку...

– Бросьте работать! – сказал он после восьмого сеанса. – Ничего не выйдет. Даром время теряем.

Он подошел ко мне и истерически зашептал:

– Я пришел, чтобы забрать портрет, палитру и кисти... и все это сжечь...

– Как? – удивился я.

– Да, да, – заторопился он. – Я твердо решил это сделать.

Лицо его выражало решительность и злобу.

Глаза его горели, рот был сжат.

Я понял, что спорить с ним было бессмысленно. С грустью я решил попрощаться с неоконченным портретом. Ничего не выйдет. Но кисти и палитру, к которым я привык, мне стало жаль, и я попытался их спасти.

– Профессор, вы очень жестоки. При чем здесь палитра и кисти? Не трогайте их.

– Я не хочу, – сказал он, – чтобы вы ими кого-нибудь еще рисовали.

Мне пришлось ему уступить.

Не глядя на меня, он торопливо вынул из бумажника три красных бумажки и дрожащей рукой бросил их на стол.

– Думаю, – сказал он сквозь зубы, – что этого достаточно.

Я отошел к окну.

Поспешно завернув в газету палитру и кисти, он одной рукой схватил чемоданчик, другой – портрет. И шагом человека, которого незаслуженно жестоко обидели, направился к двери.

## У моря

Мне трудно расстаться со ставшими близкими морскими этюдами. Я к ним привык. Полюбил их яркую красочность, свежесть, легкость и «состояние». Бывали хмурые дни, когда я, чтобы поднять творческое настроение, развешивал их на стенах, садился около них и глядел на них. Дышал ими. Каждый из них вызывал неповторимый образ восхода солнца за светящимися голубыми горами. И каждый этюд отдавал утренней прохладой моря. Так мне казалось. Чего только я не дал бы теперь за то, чтобы постоять на берегу утреннего моря и писать прекрасный, но для меня непосильный восход солнца! Я знал, что солнце передать очень трудно и даже крупным маринистам не всегда удавалось решить эту творческую задачу. Поэтому я писал так, как обычно они пишут: стремился передать не восходящее солнце, а восходное небо.

Особенно мне дорог был этюд с молодой женщиной в черном, сидящей на складном стуле у самого моря. Я долго глядел на этюд и вспоминал связанную с ним печальную историю.

\* \* \*

Я жил в Одессе. Писал море и готовился к отъезду в Париж. Каждое раннее утро я приходил на влажный еще берег, ставил мольберт, укреплял холст и начинал работать. Я любил этот поэтический час. Суровая и вместе с тем нежная красота моря!купающихся мало, никто не мешает увлеченно писать.

Поработав до восхода солнца, я складывал свой реквизит и уходил домой. Однажды, когда окончил этюд и собирался уходить, я заметил, что ко мне приближалась эта женщина в черном.

Подойдя ко мне, она тихо сказала: «Товарищ художник, разрешите посмотреть вашу картину».

– Пожалуйста, – ответил я.

Несколько минут она смотрела на этюд и, поблагодарив меня, молча направилась к морю.

Так она ежедневно к концу сеанса подходила ко мне и просила разрешения поглядеть на мой этюд. Я ей великодушно разрешал. Она благодарила и, постояв перед ним несколько минут, уходила.

Я начал привыкать к ней. Ее присутствие, мне казалось, поднимало рабочее настроение. Мне нравилось ее лицо. Никогда я не видел еще выражения такой глубокой печали на лице.

Я почувствовал большую симпатию к этой худой, бледной и нежной женщине.

Однажды, когда, уставший от напряженной в тот день работы, я снял с мольберта этюд и собрался покинуть берег, она подошла ко мне.

– Товарищ художник, я хочу с вами поговорить...

– Слушаю.

Сильно волнуясь, она тихо, неуверенным голосом сказала:

– Через два дня я уезжаю домой – в Полтаву. Мои средства кончились... но уехать без вашей морской картины я не могу... Вы должны мне помочь и продать ее... но у меня очень мало денег... Что мне делать?

Я не мог понять, в чем дело, и попросил ее объясниться.

Она растерялась, покраснела и вдруг расплакалась... Глотая слезы, она рассказала историю своей печальной жизни:

– Я – несчастный человек... у меня было большое горе... Умер единственный сын, – она умолкла. И, погодя, продолжала: – Я заболела нервной болезнью... муж меня поместил в больницу для нервных больных. Там я пролежала больше трех месяцев. Потом муж меня взял домой... Чувствовала себя лучше... но работать, помогать мужу не могла.

Она глубоко вздохнула и, помолчав, с нарастающей печалью продолжала:

– Я ходила по улицам и паркам, приставала к незнакомым людям и рассказывала им о своем горе. Мне казалось, что так поступая, рассею свое горе... Но горе не покидало, не рассеивалось... Оно, как тень, шло за мной. Однажды в парке я разговорилась с одной незнакомой женщиной. Она меня внимательно выслушала и сказала: «Поезжайте к морю. Сидите и смотрите на него, не спуская глаз. В любую погоду. Дождь, ветер, гроза, жара – все равно сидите и глядите на него – и ни о чем не думайте. Ни о чем. Спасибо мне скажете. Обязательно поезжайте!» И я поехала.

Она умолкла и взглянула на этюд.

– Три месяца я с утра до ночи глядела на море, но средства мои кончились. Надо вернуться домой... но ехать без морского вида не решаюсь. Вот почему я задумала у вас купить картину...

Мне стало жаль ее. Подумав, я решил подарить ей мой этюд.

– Я вам дарю картину. Берите ее.

Она запротестовала.

– Нет, нет. Даром я ее не возьму. Я не нищая...

Долго я ее убеждал, доказывая, что буду очень рад, если моя работа поможет ей выздороветь. Наконец она согласилась взять мой подарок. От неожиданного счастья она опять заплакала. Крупные слезы стекали по ее щекам, падали на кофту.

– Встреча с вами, – призналась она, – лишила меня покоя. Каждый вечер, ложась спать, я думала о вашей картине... Размышляла и очень сомневалась: а вдруг – вы мне откажете! В эти часы я все мечтала – скорее купить картину и уехать с ней домой.

Она в упор взглянула на меня.

– Как я рада и счастлива... – повторяла она.

– Ваше имя и фамилия? – спросил я.

– Анна Руднева.

Я сделал надпись на этюде и подал его ей.

Она схватила мою руку и стала трясти, а потом целовать.

Прерывающимся от волнения голосом она сказала:

– Благодарю! Всю жизнь помнить буду!

Опасаясь какой-нибудь банальной фразой ослабить впечатление от ее слов, сказанных с глубокой душевностью, я молчал.

С величайшей осторожностью она взяла этюд и медленно, не оглядываясь, ушла. Я поглядел на ее походку, в которой чувствовалось глубокое страдание. И примирение.

На следующий день, рано утром, я уже был с мольбертом и этюдником на берегу.

Я ее ждал. Мне хотелось ей сказать несколько теплых слов, ее утешить. Но она не пришла.

Больше я ее не видел.

## Лавочник-философ

Художественные материалы я покупал в небольшой лавочке, находившейся неподалеку от школы на Преображенской. Над входом висела яркая вывеска, вызывавшая во мне образ солнечной Африки. Жену Шварцмана называли «тихой Рейзат». Это была рембрандтовская старуха с приподнятыми, узкими плечами и покорными, сияющими глазами. Она не любила длинных разговоров и умела в двух-трех умно сказанных словах выразить очень многое.



*Мидлер, Менаше, Нюренберг*

Детей у Шварцманов не было. Их заменили жившие на верхней полке пышные кремовые голуби и два сибирских кота.

Шварцман был философ, на жизнь и людей он смотрел сверху или сбоку. Он считал мир творением не Бога, а черта и его приятелей. «Бог, – говорил он, улыбаясь и щурясь, – давно в отставке. Он, как старый николаевский солдат, живет одними воспоминаниями о боевом прошлом». Два правила – «ничему не удивляться» и «беречь сердце и желудок» – руководили всем его бытом и жизнью.

Эти правила он и мне старался привить.

– Вас все волнует, – говорил он, глядя в мое лицо мягкими глазами. – Не набрасывайтесь на жизнь, в ней ничего нет вкусного... Она дает одну изжогу.

Однажды я решил попросить у него взаймы немного денег.

В Одессе была весна, наполнявшая меня до краев, чудесная весна. В парках цвели акации, сирень. Улицы были залиты густым, ярко-желтым хмельным солнцем, а море так посинело, что казалось подкрашенным ультрамарином.

У меня завелась одна рыжая курсистка с бронзовым телом. Веселая, болтливая. Она умела ярко улыбаться и образно рассказывать о своей родине и детстве. Я ее часто рисовал на берегу моря на фоне облаков. Ей это нравилось, и она охотно позировала. Все шло хорошо. Но одно меня огорчало, – это моя одежда и особенно штаны. Они были ужасны: потертые у швов и промазанные красками на коленях. Буду краток. Мне нужны были новые штаны, хорошие, тонкошерстные штаны рублей на шесть, а может, и семь. На толкучем рынке я встречал такие. Мне хотелось предстать перед моей рыжеволосой обязательно в

победоносных штанах. Но где достать денег, чтобы купить их? И тут я вспомнил о Шварцмане. Он, я знал, меня поймет. Он добр. Я ему в грустных выражениях расскажу о моей драме. Он будет тронут. Я двинул к старику. Придав лицу печальное выражение, я зашел в знакомую лавочку. Мой трогательный тон показался мне убедительным. Старик меня внимательно выслушал. На его мягком носу дремали темно-синие очки. Шварцман, видимо, волновался. Но это хороший признак. После волнений у него наступала реакция, когда он добрел. Итак, я был близок к удаче.

– Друг мой, – начал Шварцман, медленно снимая очки, – я вам денег не дам...

И, подойдя ко мне мягкими шагами, ласково, но внушительно, добавил:

– И знаете почему? Потому, что я не хочу вас потерять.

Я недоуменно смотрел на его очки, стараясь через яркую холодную синеву стекол проникнуть в казавшиеся мне всегда освещенными добрым огоньком глаза. Заметив, какое впечатление произвели на меня его слова, он продолжал, растягивая время:

– Вы, я вижу, меня, друг мой, не поняли. Подумайте хорошенько над тем, чем кончится моя любезность. Я вам дам шесть или семь рублей. Хорошо. Получили и адье. А потом? Потом знаете, что получится? Денег лишних, чтобы отдать мне долг, у вас не будет ни завтра, ни послезавтра, ни через год. Вы только не делайте больших глаз, как сова, – перебил он себя, – и слушайте меня.

– Вы меня начнете избегать, а потом возненавидите. Верно говорю? И все это за мое доброе дело... Так зачем мне делать глупость, если я могу ее не делать? Денька два будете дуться на меня, потом все забудете, словом – вы опять мой дорогой гость.

Он отечески мягким жестом протянул свои сухие, бледные руки и, наклоняясь ко мне, шепотком произнес:

– Скажите, что я не прав.

Я молчал.

\* \* \*

Шварцман имел свои взгляды и на живопись. Он любил со мною поговорить об искусстве. О его назначении и целях. Он посещал выставки, знал многих художников и следил за их работой.

Он наливал себе и мне большие граненые стаканы крепкого чаю, клал себе три, мне два куска сахара и, прищутив глаза, начинал поучать меня. Очки лежали на столе, дожидаясь взволнованных моментов речи.

– По-моему, – важно начинал он, – большим художником может быть только портретист. Учись, мой юный друг, быть портретистом. Самое трудное и самое возвышенное искусство – портрет. Человеческое лицо.

Наступал момент жеста. У него был удивительный природный дар придавать своим жестам любой психологический характер и оттенок.

– Человеческое лицо... Что может быть более интересным и волнующим? Глаза, видевшие горе и несчастье, глаза, знающие, что такое слезы. Рот, который не только поглощал пищу, но и произносил проклятия, стонал и охал... Лоб, светящийся мыслью, духом сопротивления, критикой, или лоб, который обо всем передумал, все познал. В каждой морщинке есть своя жизнь, свои радости и страдания. Ничего нет интереснее человеческого лица. Пейзаж вещь хорошая, но он не знает, что такое страдание, а без страданий не может быть и глубоких художественных работ. Я люблю море, восхищаюсь лесом, речками, но скажите, если в лесу или у моря разбойники на ваших глазах нападут на вашу родную мать, изнасилуют и убьют ее – разве лес или море хоть единым движением ответят на это? У природы нет ни души, ни сердца.

– Поэты и художники другого мнения, – вставляю я робко.

– Поэтам и художникам можно так же верить, как весной девятнадцатилетней девушке. Слушайте дальше. Кто на этом свете больше всех страдает? Бедные и нищие. Поглядите хорошенько на них – и если у вас сердце не замусорено всяким хламом – вы меня поймете. Только бедных и нищих должен рисовать художник. Только их. Их лица интереснее, богаче лиц богачей...

Голос его становится глуше, словно отодвигается он все дальше и дальше. Опять пауза. Шварцман долго вздыхает и, покачав головой, задумчиво прибавляет:

– Если бы у меня был талант, я бы, как ваш Рембрандт, рисовал только бедных людей. Он понимал, что такое красота и где ее нужно искать. Мудрый был человек.

\* \* \*

Шварцман учил меня также умению жить и работать.

– Художник должен быть похож на ученого рабби, – неспешно говорил он, подбирая и обсасывая слова. – Он должен с утра до вечера сидеть дома и работать. На разглядывание жизни и участие в ней он должен тратить только десять процентов. На еду, женщин и всякие другие удовольствия – тоже десять процентов, а остальные восемьдесят процентов должны идти на картины. Поняли, мой юный друг? Еще лучше, конечно, если художник на свою работу тратит девяносто процентов, тогда он на верное чего-нибудь добьется. У художника должно быть твердое, но не как камень, сердце и крепкий, ничего не боящийся желудок. С женщинами он может встречаться только раз в месяц.

– Судьба каждому дает только один золотой. И нужно суметь его бережно и умно использовать. Один себе закупит детских игрушек и сладостей, другой вина и паюсной икры, а третий – книг, учебников и простого житного хлеба. Каждый человек имеет свою дорогу, свои ямы и свою непогоду. Скажите, что я не прав?

Он умолкает, смотря на меня с подчеркнуто нежной и иронической улыбкой. Наступает торжественная пауза. Выпив стакан чаю и неспешно вытерев свои прокопченные табачным дымом усы, он продолжает:

– Бог не вмешивается в такие дела. И не потому, что он стар и глух, а потому, что дела эти для него мелкие. Ум есть, глаза тоже – действуй по собственному разумению.

К концу его речи синие очки уже покоятся на горбатом носу. Он их бережно снимает и кладет на стол, рядом с сахарницей.

– Так, так, мой друг... Берегите вашу золотую монету. И, если будете тратить ее, десять раз подумайте над тем, чего целесообразнее купить. Помните – другой вы уже не получите.

Я пристально гляжу ему в глаза. Спокойным и неподвижным взглядом он встречает мой взгляд. Бледные старческие губы улыбаются.

– Еще выпьем по стакану хорошего чаю? – с чувством спрашивает он.

– Выпьем, – радостно отвечаю я.

## **В Париже (1911–1913 годы)**

### **Переход через границу**

Приехав в местечко, расположенное рядом с Беловежской Пущей, я направился на вокзал, где находились люди, знавшие человека, к которому мне нужно было обратиться. Я выпил стакан чаю со сладкой булочкой и обратился к стоявшим в длинных пальто и высоких шапках людям.

– Не знаете ли вы Махновского? У меня к нему письмо.

– Есть такой, – ответил один. – Он здесь, на вокзале. Пойдемте со мной. Я вас с ним познакомлю.

И он познакомил меня с Махновским. Махновский прочел письмо и сказал: «Хорошо, идемте».

И мы пошли. Привел он меня на край местечка к большому дому с очень высокой черепичной крышей и сказал:

– Вы здесь отдохнете. Тут есть буфет и диваны. Я к вам приду, когда стемнеет, а пока всего хорошего.

Он ушел. В доме, куда я попал, было много народу, большей частью молодежь. Они сидели на своих чемоданчиках и пели революционные песни: «Вы жертвою пали».

Махновский пришел, когда были зажжены большие настольные лампы.

– Господа, – сказал он и почесал свою рыжую бороду, – через пол часа мы отправляемся в лес, к казачьему сторожевому посту. Идти придется долго. К вам покорнейшая просьба – не курить, не петь, стараться не кашлять... Не забывайте, что эта операция не безопасная. Все может случиться. Вас будет сопровождать опытный проводник – Борис Каминский. Все. Желаю вам успеха. Будьте здоровы и благоразумны.

Он ушел. Мы засуетились и начали готовиться к опасному походу. Ровно через полчаса нас стали выводить. Была тихая и равнодушная к нашим переживаниям ночь. Безучастно горели большие, почти белые звезды.

– Господа, – сказал Борис Каминский, – ходить будете гуськом, один за другим. Разговаривать нельзя.

Мы пошли. Впереди меня шел высокий старик с двумя мальчиками. Одного он держал на правом плече, другого, лет восьми, вел за ручку. На левом плече у него висела корзина с вещами.

Мы вошли в лес. В лесу было тихо и темно. Меня удивили огромные, необычайно высокие сосны. Казалось, что их верхушки касались звезд. Шли мы долго. Старик, шедший впереди, часто и глухо покашливал. Устав, он впал в раздражение и начал ругать Америку. Я взял одного из мальчиков и повел за ручку.

– Чтобы она сгорела, – слышал я, – эта Америка, с ее высокими домами и долларами. На кой черт она мне нужна? Разве я в своем городке плохо жил? Как сапожник я всегда имел работу и кусок хлеба.

Сосны равнодушно выслушивали его жалобы.

Через два часа наш проводник, обойдя нас, шепотом сказал: «Скоро казаки. Не курите».

И, действительно, скоро показалась опушка леса. Я почувствовал, что сердце мое сильно забилося. Мы вышли на полянку, где на фоне сине-голубого неба виднелись три

силуэта верхом на лошадях. Слышно было, как один из них считал: «Восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один». Я был двадцать вторым.

Затем показался глубокий пограничный овраг, куда я спустился вместе с другими. Там нас поджидали дородные и грубые немецкие солдаты. Они нас хватали за руки и кричали: «Давай на водку!» Мы останавливались, рылись в карманах, доставали деньги и давали им на водку.

«Родина, – подумал я, – осталась позади».

В этот тревожный момент грусть закралась в мою душу. Мне казалось, что я недостаточно нагляделся на мое любимое ласковое украинское небо, романтические степи и курганы. Надо было бы их зарисовать и в Париже, в часы тоски по родным местам, глядеть на них. Все время не покидало чувство, что в моей жизни наступила холодная пора. Когда я выбрался из оврага, я на минуту остановился и оглянулся. Позади была моя родина – Украина.

## Первые дни в Париже

Когда стемнело, Федер сказал мне:

– Ну, дружок, поехали на Сен-Мишель. В кафе. Посмотришь ночной Париж, художников, студентов.

И мы поехали. Электричества в Париже еще не было. Горели газовые фонари, слабо освещая улицы. Дома мне показались высокими. Деревья стояли черные, мрачные. Накрапывал мелкий дождик. Фиакр, медленно плывший, остановился у ярко освещенного кафе.

Федер заказал кофе с молоком и круасаны (рогалики).

– Платить буду я, Амшей, – улыбаясь, сказал Федер.

«Я впервые сижу в парижском кафе и пью кофе», – подумал я. Против нас за столиком сидели три молодые женщины в больших шляпах и пестрых шарфах. Они поглядывали на нас, о чем-то шептались и улыбались.

Федер встал, подошел к ним и что-то шепнул одной из них. Потом вернулся ко мне и заявил:

– Дружок, это «ночные бабочки». Они сегодня безработные и голодные. Ты как иностранец, приехавший в Париж, должен их угостить. За кажи им кофе с круасанами.

И, глядя на меня, добавил:

– Ничего не поделаешь, такие здесь традиции.

Он заказал три кофе и круасаны, а я заплатил. Я попытался разглядеть этих ночных девушек. Бледные, усталые лица и худые руки.

– Ну, вот. Ты уже, можно сказать, приобщился к Парижу.

Струнный оркестр играл какую-то уличную песенку.

– Это самая модная теперь в Париже песенка – «Мариетта», – сказал Федер.

В углу сидела группа художников в плащах и шляпах и подпевала. Один из художников зарисовывал «ночных бабочек». Затем, вырывая из альбома листы, дарил их девушкам. Они улыбались и прятали наброски в сумочки.

В двенадцать часов ночи мы вернулись домой.

– В Париже сейчас открываются ночные кафе, но после дороги ты устал, и я познакомлю тебя с ними в другой раз, – на прощание сказал Федер.

Утром Федер повез меня в Латинский квартал искать дешевый отель. По узким улочкам он привел меня в отель. Договорившись с хозяйкой, я уплатил аванс. В номере остро пахло гнилой бумагой и сыростью. Одно небольшое окно выходило на улицу против столовки. В номере стояли стол, стул, этажерка и кровать старомодной формы. Вся мебель, вероятно, была наполеоновских времен.

## Осенние миниатюры

Она поправила выбившиеся из-под небольшой шляпки, похожей на ежа, золотистые волосы и упрямо, как-то жестко сказала:

– Я не принимаю никаких угощений, подарков. Ничего есть не буду. И пить не буду.

– Да почему?

– Так. Не все ли равно – почему. Впрочем, быть может, после того, как привыкну к вам... но теперь ни за что.

– Странно. Ничего не понимаю. Но ведь я вас целовал. Все ваше тело целовал. И как! Неужели вам неприятно пить мое вино и есть мой шоколад? Или аппетит у вас – интимная тема?

– Вы – глупенький. Тело мое меня не делает рабыней, а вот ваше вино или деньги или подарки – сделают. Попаду в петлю!

Мы сидели в одном из тех мрачных кафе, где мысли приходят в голову, окутанные прозрачным крепом и ароматом осеннего разложения, где желания и воспоминания о прошлом галлюцинируют. Были поздние, холодные сумерки. За темными окнами два лиловых силуэта то сливались, то разбегались. Где-то кричал пароходик. И его короткий, подавленный крик был похож на крик больного ребенка.

Она тихо, точно молясь, рассказывала:

– Он был богат. Немного добр, немного умен, немного романтичен, но больше всего хитер. Одевался со вкусом, с тем вкусом, который при обретается, чтобы привлекать легкомысленных, быстро забывающихся женщин. Это было полное рабство портного, шляпочника и сапожника. Любил яркие, сильно пахнущие цветы. И, кажется, усердно читал новых поэтов. Все.

Как-то находясь в его вычурной комнате, украшенной гравюрами и офортами новейших художников и японской лакированной мебелью, он, нежно обняв меня, торжественно произнес: «Дорогая, я тебя никогда не оставлю. Я сделаю все для тебя. Только позови».

Я тогда загадочно улыбнулась и в честь такого живописного восклицания предложила съездить в Версаль и там пышно поужинать.

Он красиво согласился.

Пять месяцев спустя я вспомнила об этой романтической фразе. Женщины великолепно помнят подобные фразы. К тому же я была больна. Лежала в скучной и одинокой комнате, которая на меня действовала как нищета. Я встала, подошла к окну. Крыши, покрытые ярким, изумрудным мхом, бытовые трубы, похожие на забытые памятники, развешанное кем-то пестрое белье на сильно натянутой веревке – все мне показалось безнадежным и мертвым. Невероятная усталость, а главное, бессилие заставили меня опять лечь.

Вечером я ему позвонила. Его голос словно изменился. Мне показалось, что говорил не он, а его брат, двойник.

Голос сказал мне: «Милая, сегодня не могу. Завтра буду. Что с тобой?»

На следующий день он явился. Причесанный, выутюженный. Поцеловал с достоинством, похожим на приговор, мою побелевшую руку. Долго глядел на мое бледно-кремовое одеяло, на котором лежал носовой платок. И сказал: «Милая, что с тобой? Фи, как это нехорошо».

Я искусала губы до крови. Потом, сделав отчаянное усилие над своей волей, я прошептала: «У меня нет денег».

Он по-княжески всунул в жилетный карман два выхоленных пальца и вытащил новенькую двухфранковую монету.

Мои губы были влажны от крови, и я чувствовала, как отдельные капли стекали на дрожащий подбородок. Он заметил это и спросил, почему на губах моих столько крови. Я его быстро успокоила, заметив, что у меня лихорадка.

«Пустяки», – сказала я.

Я лежала как бы в беспамятстве и думала, как быть с новенькой монетой. Ах, Боже мой, как мне было тяжело! Я никогда не забуду этого дня. Я сразу постарела на несколько лет. Спрятать монету – подумает, что я из нужды взяла. Бросить на пол и расхохотаться – получится слишком драматично. Швырнуть в его мерзкое лицо и вдобавок плюнуть в его темно-зеленоватые глаза – скандал и черт знает что. Я спрятала.

Через две недели я получила небольшой белый конвертик. Мы встретились в Люксембургском саду. Был пасмурный день. Мы остановились возле театра марионеток для детей. Он мягко, как-то неприятно заговорил. Я небрежно отвечала, избегая его взгляда. Вдруг он решительно повернул ко мне лицо. Я не выдержала.

Быстро вырвала из моего ридикюля новую монету, обжигавшую мне душу, и со всего размаху швырнула прямо в его лицо. Бросилась бежать. Когда я, усталая и разбитая, вернулась к себе – силы совершенно меня оставили. И я заснула. В кровати я пролежала после этого ровно два месяца.

Вот почему я не принимаю никаких угощений. Не ем и не пью с мужчинами. Ну, а тело – тело для меня ничего особенного не представляет. Я его не чувствую.

Пароходик еще кричал. Два силуэта погасли и слились с ночной синевой.

## Знакомство с импрессионистами

Было около десяти часов утра, когда мы вышли из кафе «Египет» на улицу, где свирепствовала парижская зима.

Холодный, сырой ветер стегнул по глазам. Над крышами приунывших домов быстро неслись тяжелые темно-серые тучи. Пахло снегом.

Мы надвинули шляпы на лоб, подняли воротники и, сгибаясь от ветра, скорым шагом направились в Люксембургский музей.

– Какая непоэтичная зима в вашем Париже, – сказал я.

– Да, – отвечал Федер. – Не русская романтическая зима! Но в парижской есть свои прелести. Разве движение людей и мокрых фиакров по заснеженной улице – плохой мотив? Моне и Писсарро зимний Париж передавали с суровой красотой. Возьми Нотр-Дам, когда он покрыт снегом! Поживешь несколько лет и поймешь красоту серого колорита. Поэт Волошин сказал, что символом Парижа является серая роза.

Когда мы подошли к Люксембургскому музею, Париж побелел. Тяжелыми влажными хлопьями падал снег.

– Через час-два его уже не будет, – с грустью сказал Мещанинов. – Останутся тучи и лужи.

Поглядев на моих милых гидов, я вспомнил сценку из елисаветградского свадебного быта – проводы сватами жениха и невесты. Я – жених, очаровательная «Олимпия» – невеста, мои добрейшие друзья Мещанинов и Федер – сваты.

Мы в музее.

Счистили с себя мокрый снег. Пальто и шляпы сдали сонному гардеробщику.

– И охота вам в такую погоду шляться по музеям! Сидели бы в кафе, – проворчал он.

Мигнув в мою сторону, Федер ему сухо ответил:

– Завтра этот молодой американец уезжает в Нью-Йорк.

– Понятно, – сказал гардеробщик.

Мы в залах импрессионистов.

Заговорил наш прославленный гид, искусствовед и оратор – Мещанинов.

– Ты, Амшей, обрати внимание на Мане, Дега, Ренуара и Сезанна. Если их изучишь, ты будешь знать импрессионистскую живопись. Франция ими гордится. И справедливо. Все – великие, и все – разные. У каждого своя композиция, свой колорит и свой рисунок.

Он меня подвел к картине Ренуара «Девушка, читающая книгу». Искусствоведы и художники считают эту работу шедевром.

Я прилип к Ренуару – лучшему колористу современной французской живописи. Впечатление от «Девушки, читающей книгу» было такое, будто это не живопись, а музыка в красках.

Долго я восхищался ренуаровским творчеством.

Потом мой милый гид потащил меня к Сезанну.

– Сезанн, – сказал он с большим жаром, – это великий новатор. Он открыл новый путь для художника, и нет ни одного нового течения в живописи, которое не пользовалось бы его принципами. Я – скульптор, – добавил он, – но многое взял у этого великого мастера.

Потом мой гид повел меня к Мане. У меня пульс повысился. Наконец я увижу великого Мане!

– Этот мастер, – сказал Мещанинов, – сумел взять у Гойи, Веласкеса, Рембрандта и Гальса все лучшее и соединить это с творчеством Моне, Сезанна и Ренуара.

Я долго любовался его портретами: «Флейтистом», «Золя», «Женой Мане за роялем».

И вдруг я почувствовал, что Мане на всю жизнь мой кумир. Мой учитель. Он, как никто из импрессионистов, сумел показать современного человека. Историки Франции будут изучать нашу эпоху по его портретам.

Почувствовав усталость, Мещанинов предложил сделать перерыв. Сходить в кафе, а потом направиться к «Олимпии». В Лувр.

Федер и я согласились. Так и сделали. Мы опять на улице. Опять спешащие на юг тяжелые мрачные тучи и запах снега. Мокрый асфальт. Фиакры с характерными, добродушными парижскими лошадками.

Мы в Лувре. В зале импрессионистов. С волнением подошли к «Олимпии». Здесь выступал уже мой второй гид – Юзя Федер.

– 97— Хорошо, – улыбаясь сказал он, – что мы после холодной улицы пришли к этой «девушке». Она нас вдохновит и согреет. Бонжур, ма шер! – Приветствовал он ее.

– 98— Говорят, – прибавил Федер, – что это не богиня и не классическая красавица, а девушка с центрального рынка, продавщица устриц и мидий (мидий). Пусть! Я готов всю жизнь стоять перед ней и любоваться ее внешностью.

– Смотри, дружок, – сказал он, обращаясь ко мне, – перед тобой шедевр из шедевров! Смотри внимательно! Это лучшее произведение импрессионистской школы. Постарайся вобрать в себя новую, современную, демократическую красоту!

Я старался вобрать в себя красоту. Но это за одно посещение зала импрессионистов было невозможно. Сюда надо раз десять приходить с альбомом и, елико возможно, копировать «Олимпию». Копировать отдельные части ее непередаваемой фигуры: голову, руки, ноги. Потом – негритянку. И даже букет. Он тоже написан в стиле Мане.

После «Олимпии» мы пошли поглядеть «Завтрак на траве». Эта работа находилась в декоративном отделе Лувра.

Большая картина. Написана она была, когда мастеру было тридцать один год. Как большинство работ Мане, она была навеяна музейной классикой – рисунком Рафаэля.

Полотно с большим душевным накалом, тактом и умом.

Уже темнело, и холст казался покрытым темной вуалью. Надо было свой поход к импрессионистам закончить. Я обнял моих двух гидов, расцеловал их, поблагодарил за внимание, доброту и любовь. Пожал им руки и ушел в отель.

– Какое огромное значение, – подумал я, – в Париже иметь культурных и душевных друзей! Можно ли здесь без них жить и творчески расти?

## Письмо из Франции (1911 год)

В Осеннем салоне выставляются художники, имена которых у молодых художников вызывают большое уважение. Здесь наиболее яркие и тонкие колористы. Затем существует еще Зимний салон. Это наиболее старомодный, консервативный.

Он обслуживает финансовую буржуазию. Картины здесь в богатейших рамах и с салонными сюжетами. Больших, ярких имен сейчас в Салонах нет. Старожилы говорят, что сегодняшний год скучный. В Осеннем нам понравились работы Аминжана и Симона.

Из Парижа мы часто получаем письма с подробным описанием художественной и бытовой жизни великого города. Это нам пишут наши старейшие друзья, окончившие в 1908 году Одесское художественное училище, – Фраерман, Мещанинов и Матинский. Мы знаем, какие в этом году в Париже открылись салоны, как они называются и что в них выдающегося. Самый обширный и интересный из них называется Салоном «независимых». В нем около трех тысяч работ всех школ и стилей. Вносишь 25 франков и получаешь место – квадратный метр. Жюри нет, выставляешь, что хочешь. Потом идет Осенний салон, где выставляются более новаторские, влияющие на молодежь силы.

Мы в курсе того, о чем говорят в знаменитом кафе «Ротонда». Знаем, какие там вкусные кофе и сэндвичи (бутерброды). Мы знаем, где можно и вкусно, и сытно пообедать за один франк. Недавно узнали, где находится милейшая обжорка «Мать с очками».

## В «Парижском вестнике»

1911 год. «Ротонда» – это не только кафе на Монпарнасе, где художники встречаются с друзьями и знакомыми и пьют кофе.

«Ротонда» – это своеобразная биржа, где художники находят маршанов<sup>1</sup>, которым продают свои произведения, находят критиков, согласных о них писать. Но особенно «Ротонда» замечательна тем, что там можно встретить людей из стран всего мира.

Какие интересные, порой головокружительные знакомства бывали у меня в этом кафе! В «Ротонду» приходили люди из Северной Америки, Канады, Бразилии, Аргентины, Австралии и других стран. Они приезжали в Париж, чтобы узнать о новых тенденциях в живописи, скульптуре. И, конечно, о новых, разрекламированных прессой талантах. Эти люди с удивительной настойчивостью обходили музеи и мастерские, а потом отдыхали в «Ротонде».

В этом кафе я познакомился с редактором русской газеты «Парижский вестник» – эмигрантом Белым. Человеком с бледным, усталым лицом и мягкими движениями.

Внимательно разглядывая меня, Белый сказал:

– Ваш друг Федер рекомендовал вас как молодого, но опытного художественного критика. Я обрадовался. Мне нужен такой сотрудник. Согласитесь ли вы работать в моей газете?

– Соглашусь.

– Скажите, меесье, ваша основная профессия?

– Художник. Художественная критика – мой отхожий промысел.

Продолжая внимательно меня разглядывать, он сказал:

– Я вам сейчас сделаю пробный заказ. Хорошо напишите – будете у меня работать.

И, погодя, добавил:

– Три дня тому назад открылся «Салон независимых», в котором участвуют нашумевшие художники – кубисты. Сходите в салон, посмотрите их и напишите статью. Строк две-сти. Хватит.

Потом он быстро добавил:

– Сегодня вторник. ... В пятницу, в десять часов утра, я вас жду со статьей. Адрес редакции – ул. Риволи, 24, пятый этаж. Запишите, забудете.

Я записал.

– Желаю вам успеха! – и, мягко пожав мне руку, ушел.

На другой день утром я понесся на Сен-Мишель. Купил бутылку чернил, большой блокнот, плитку сыра «бри» и, для поднятия вдохновения, бутылку пива.

Позавтракав, я отправился поглядеть творчество нашумевших кубистов.

«Салон Независимых» – это длиннейший, дощатый, с полотняной крышей сарай. Свыше пятидесяти залов, густо увешанных картинами.

Чтобы не рассеивать зря свое внимание, я решил сразу направиться к кубистам.

Охранявший порядок в салоне полицейский сказал мне, что кубисты висят в конце салона. Я туда направился,

В первый раз я обегал кубистов, стараясь получить о них общее впечатление. Во второй раз медленно разглядывал каждое полотно. И в третий раз я уже с записной книжкой долго стоял перед каждым полотном, стараясь понять его внутреннюю сущность и технику. Особенно меня интересовала работа изобретателя кубизма – большого, талантливого художника Брака. И тут я вспомнил замечательную фразу великого философа Баруха Спинозы: «Я не огорчаюсь, не радуюсь – я стараюсь понять поступки людей».

---

<sup>1</sup> Marchand – торговец (франц.).

Я мог, конечно, о кубистах юмористично написать или резко раскритиковать их, но что это дало бы читателю? Ничего. Читатель хочет понять мотивы кубистов. Узнать, какими идеями они руководствовались, когда работали?

И я должен помочь ему.

Я вынул записную книжку и записал все пришедшие мне в голову мысли. Записал также фамилии всех кубистов: Брак, Пикассо, Делоне, Глез, Метценже, Леже и Лефоконье.

Меня интересовало, как парижские зрители относятся к творчеству кубистов. Я знал, что французы народ эмоциональный, быстро и живо реагирующий, и потому не отходил от кубистов, стараясь подслушать, что о них думают и говорят.

Большинство зрителей, постояв несколько минут около полотен, с иронической улыбкой шло дальше вглубь салона. Но были и такие, которые громко реагировали. Слышны были ругательства, насыщенные веселым цинизмом. Скандальных явлений, как во времена первых выставок импрессионистов, я не наблюдал.

Парижская публика, очевидно, уже привыкла к любым шумным выступлениям «левых» художников и равнодушно поглядывала на их творчество.

Когда я почувствовал, что голова моя устала и отказывается работать, я попрощался с кубистами и вернулся в отель.

Опорожнив бутылку, я взялся за литературу. Когда брал в руку перо, я всегда вспоминал Эдмона Гонкура. Он хорошо знал творческие страдания литератора. Вот, что он писал:

«Какой счастливый талант художника по сравнению с талантом писателя. У первого приятная деятельность руки и глаза, у второго – пытка мозга. Для одного работа – наслаждение. Для другого – мука».

Итак, передо мной пытка мозга.

\* \* \*

Положив на стол новенький блокнот, я задумчиво поглядел на висевшую над столом большую фотографию. Это была знаменитая греческая скульптура – богиня победы Ника.

– Моя любимая Ника, дорогая богиня, – прошептал я, – помоги осилить эту тяжелую статью...

Я смело взял ручку и начал писать. Я заглядывал в записную книжку и выуживал из нее удачные мысли, записанные мною, когда я изучал кубистов. Я отогнал налетевшую усталость и внушил себе мужество. Я не сдавался. Под утро, окончив статью, я встал и подошел к открытому окну подышать ночным свежим воздухом. И отдохнуть.

Улица еще спала. Над синевшими крышами погруженных в глубокую дрему домов висело тревожное бледно-желтое облачко – отсветы парижских огней.

Подышав ночной свежестью, я вернулся к столу, собрал нервно написанные блокнотные листы и пронумеровал их. Было девять страниц! Что же, неплохо... Статья написана. Понравится ли она редактору? Читателям?

Мне кажется, что главное схвачено. Есть тема, характеристика, композиция и неплохой язык. Но это мое мнение... Оно не решает судьбу статьи!

Разглядываю ночную улицу Сен-Жак и думаю о ее мрачной истории. Порой усталый мозг рисует мне толпы черных теней. Они приближаются к отелю и тают. «Кто они? Зачем они приближаются к отелю?» Недавно мой приятель-эмигрант, директор русской Тургеневской библиотеки, знаток истории Парижа, рассказывал мне, что на нашей улице было расстреляно тысячи коммунаров и среди них известный прокурор Рауль, которого называли совестью Коммуны... Никогда не думал, что такая тихая, беспечная улица и такая кровавая история... Оказывается, что камни, по которым я хожу, в крови... Надо отсюда удрать...

В пятницу, в десять часов утра, я уже был в редакции «Парижского вестника». Редактор меня принял с подчеркнутой любезностью. Он взял у меня статью и голосом, полным дружеского тепла, сказал:

– Вы аккуратный месье. В газетной работе это немаловажное достоинство.

Потом он увлекся статьей. Читал он быстро. Я подумал: «При таком чтении не все у него останется в памяти». Выражение его лица казалось доброжелательным. Жесты были спокойны.

– Ну, что же, – сказал он врасстяжку. – Неплохо. Она пойдет. Вы у меня будете работать. Немного спустя, добавил:

– Ваш литературный псевдоним?

– А. Курганный.

– Хорошо, месье Курганный. Несколько слов об оплате вашего труда.

Я насторожился.

– За большие статьи будете получать семь франков, за малые – пять.

– Маловато, месье Белой.

– Да-а-а, – протянул он. – Деньги небольшие, но учтите, месье Курганный, газета существует на средства эмигрантов.

И, помолчав, добавил:

– Могу вам предложить еще одну работу – корректуру в нашей типографии. Это еще пять франков. Вас, месье, устраивает?

– Как вам сказать, месье редактор? Не очень...

– Это все, что я могу для вас сделать.

Я сухо поблагодарил его, сказав, что он принадлежит к редкой категории добрых людей. Получив в кассе семь франков, я ушел. Белой догнал меня и на ходу сказал:

– Делаю вам второй заказ... Напишите статью о тротуарных художниках, об «Орде».

– Хорошо.

– Тоже в пятницу, к десяти часам. Договорились? Желаю вам успеха.

– Благодарю вас.

И разошлись.

\* \* \*

Вот что я написал о кубистах.

Отцом кубистов следует считать не Брака, а Сезанна. Брак только развил известную формальную идею Сезанна: «Трактуйте природу посредством цилиндра или шара и конуса, причем все должно быть приведено в перспективу, чтобы каждая сторона всякого предмета, всякого плана была направлена к центральной точке». Брак довел эту идею до логического предела, придав ей объективный характер.

Название «кубизм» это течение получило совершенно случайно, как случайно получил свое название импрессионизм. На том же основании открытие Брака можно было назвать «цилиндризмом» или «шаризмом».

В основном, кубизм является реакцией против импрессионизма.

Импрессионизм – школа, существующая уже около ста лет. Школа, выросшая на открытиях ряда великих художников Ватто, Тернера, Бонингтона, Делакруа и Моне, знаменитых спектральных открытиях французских физиков. Школа, научившая художника чувствовать и выражать современность.

Импрессионисты развили и расширили палитру, дав новое звучание слову «цвет». Художники начал писать красками всего спектра. Стали использовать желтые, оранжевые, красные, зеленые, лиловые и особенно синие краски (передающие глубину воздуха).

Кубисты упростили палитру, оставив только землянистые охры, умбру и черную краску. Краски, нужные для характеристики формы. Сезанн не был таким кубистом. Его палитра – одна из богатейших в истории живописи. В своих выступлениях кубисты заявляют, что они стремятся создать искусство, где основой будет поэзия формы. Они говорят: «Импрессионисты показали поэзию цвета, мы покажем поэзию формы». Красивые слова. Я глядел на полотна Глеза, Метценже и Лефоконье и искал в них хоть слабые следы поэзии, но их не нашел. Это только технические опыты, которыми кубисты человека с его страстями, радостями и страданиями никогда не передадут. Кубисты помышляют писать портреты. Но это им противопоказано. Они отказались от линии и разрушили контур. Их тематика очень бедна. Тематика отца кубизма Сезанна велика и богата.

Заслугой кубистов являлось их постоянное стремление придать фактуре живописное значение, но и тут они показали себя бессильными. Часто, когда не хватало живописных средств, они прибегали к помощи реальных предметов и вещей, наклеивая их на холст. Таким образом, живопись была как бы дискредитирована.

\* \* \*

В воскресенье рано утром я поспешил к ближайшему газетному киоску. Продавщица в черной пелеринке и темно-коричневом чепчике старательно раскладывала на щитах свежие газеты.

– Скажите мне, пожалуйста, мадам, – обратился я к ней, – русская газета «Парижский вестник» у вас имеется?

– Имеется, месье.

– Сколько номеров их у вас?

– Три, месье.

– Дайте мне, пожалуйста, все три номера.

Она на меня добродушно поглядела, улыбнулась и сказала:

– Вероятно, в газете о вас пишут?

– Вы, мадам, не ошиблись.

Газеты я крепко держал в руке, точно кто-то пытался их у меня вырвать. Выйдя на бульвар Араго, я сел на скамью, развернул одну из газет и с усиленным пульсом прочел свою статью. Никаких редакционных поправок. Как это приятно! У меня было такое ощущение, точно счастье в моем боковом кармане. Я поглядывал на плывущие надо мной утренние облака, и мне почудилось, что они окрашены в необыкновенные, праздничные тона.

Вечером в «Ротонде» меня уже нетерпеливо ждали друзья. Увидев меня, Федер весело бросил:

– Амшей, мы тебя и вина ждем!

– Рад вас угостить, – сказал я, – только к вам просьба. Пощадите! Не разоряйте меня! Я еще не богат.

Федер встал и, высоко подняв стакан красного вина, вдохновенно сказал:

– Я пью за молодого и пока еще скромного и честного критика... Верю, что он не изменится!

После выпивки я им подробно рассказал, как писал статью.

Друзья дружно смеялись.

В тот же исторический вечер в «Ротонде» Федер меня познакомил с известным художником, старым парижанином – Александром Альтманом.

Узнав, что я автор статьи, помещенной в «Парижском вестнике», он подсел ко мне и, внимательно глядя в мое лицо, сказал:

– Хочу вас пригласить в мастерскую и показать свои работы. На деюсь, что вы придете. Вот вам, – добавил он, – моя визитная карточка. Жду вас завтра в четыре часа. Когда еще светло.

Я обещал прийти.

\* \* \*

В среду, в три часа я направился к Альтману. По дороге встретил Федера.

– Куда, дружок, торопишься?

– К Альтману.

– Не ходи.

– Почему?

– Пожалеешь. Он тебя утомит и замучает рассказами о себе. Больной человек. Он может целый день говорить о творчестве Александра Альтмана. Эгоцентризм в редкой форме. Все мы его боимся. Избегаем. Как только к нашему столу подсаживается – удираем.

Я Федера поблагодарил за информацию.

В четыре часа я был у Альтмана. У него была большая, великолепная, со стеклянным потолком мастерская. На стенах висели старинные ковры и в золотых рамах его работы. Посредине мастерской стояли два больших винтовых мольберта. В углу стоял небольшой стол с двумя креслами. На столе красовались две с пестрыми наклейками бутылки и в дорогих блюдах закуски. Альтман взял меня дружески под руку и с преувеличенной любезностью сказал:

– Дорогой месье Курганный, посмотрим мои работы и поговорим о них.

Посадив меня перед мольбертами, он показал большую серию пейзажей и натюрмортов.

– Я своей жизнью доволен, – сказал он, дав понять, что Фортуна не покидала его. – Я не знал пинков, которыми Париж щедро угощает молодых художников. Обо мне всегда писали. И хорошо писали.

И, указывая на книжный шкаф, наполненный газетами и журналами, гордо добавил:

– Все это отзывы о моем творчестве. Художники мне завидуют... Обо мне даже ходит слух, что в моей мастерской стоят шкафы, наполненные отзывами о моих работах. Меня хвалили. Безмерно. Я уже захваленный художник.

Он закурил трубку.

Я хмуро улыбнулся и подумал, неужели он меня пригласил только для того, чтобы похвастаться изобилием отзывов о своей живописи?

– Я вас пригласил, – сказал Альтман, – и показал свои работы не для того, чтобы вы написали обо мне еще один хвалебный отзыв.

И, погодя, добавил:

– Французы, как женщины, страдают одним неизлечимым недостатком: они забывчивы. И поэтому им нужно каждый год напоминать о себе. Я – глубокоуважаемый художник. В городке под Парижем, где я живу летом, мэрия за мои долгие и честные труды одну улочку назвала рю Альтман. Как видите, я высоко оценен. И любим.

И, докурив трубку, стал выколачивать ее и вновь набивать янтарным табаком. Потом продолжал:

– К вам одна просьба: написать обо мне книжку, чтобы ее читали, как интересный рассказ или роман.

Сдвинув брови, он, молча пыхтя дымком, внимательно разглядывал меня.

– Пойдемте, месье Курганный, к столу, – сказал он. – Вы любите устрицы и старое, выдержанное красное вино? – спросил он.

– Люблю.

– Сядем за стол.

Сели.

Он налил мне и себе вина. Потом поднял бокал и весело, торжественно сказал:

– Я пью за дружбу между художником и критиком. Без этой дружбы искусство развивалось бы очень медленно. Вы согласны со мной? – спросил он меня.

– Не совсем, – ответил я. – Вы, месье Альтман, роль и значение критика слишком преувеличиваете.

Потом, допив бокал и улыбаясь, я добавил:

– Не следует думать, что без утреннего пения петуха солнце не взойдет.

Альтман рассмеялся.

– Вы в Париже новый художник, – продолжал он, – и меня мало знали. Кто я? Какой школы живописец? Реалист или формалист? Какого стиля я придерживаюсь? Ничего не знали, но теперь, после знакомства с моими работами, вы, конечно, будете меня знать.

И, помолчав, четко и медленно добавил:

– Я импрессионист. Ученик Моне, Писсаро, Сислея. Они мне дали знания, технику, методы. И любовь, и искренность.

Он увлеченно рассказывал о своем творческом пути и ранних увлечениях, а я делал вид, что внимательно слушаю его, благодушно улыбался и изредка кивал головой.

В это время вспоминал, что о нем рассказывал Федер.

...Альтман – несомненно, талантливый художник, но ему не хватает чувства современности. То, что он делает, принадлежит не сегодняшнему, а позавчерашнему дню. В его живописи есть что-то старомодное. Трудно сказать, в чем оно. Но оно чувствуется. Может быть, в его приукрашенном и приютюженном импрессионизме. Ну, что еще тебе о нем сказать? С нуждой не дружит. Бедных не уважает...

– Пейте, месье Курганний, – слышу я ласковый голос Альтмана.

Я решил ответить дружеским тостом:

– Пью, – сказал я, – за ваше удивительное трудолюбие, – и, подумав, добавил, – и за то, что всю жизнь вы отдали живописи.

Он был доволен и тронут моим тостом.

Лицо его выражало желание сказать мне что-нибудь приятное, и он любезно сказал:

– Заходите, когда вам захочется.

Так началась моя литературная жизнь – отхожий промысел.

## Скульптор Синаев-Бернштейн

1912 год. Дождавшись конца сентября, я надел вычищенное бензином летнее пальто, широкополую серую итальянскую шляпу и отправился в гости к моему меценату и учителю жизни, известному скульптору Синаеву Бернштейну.

Старый мастер жил в аристократическом районе Триумфальной арки. Этого требовали его богатые, тщеславные заказчики. Он имел большую, комфортабельную мастерскую и ежедневно увлеченно работал. В «Ротонде» поговаривали о том, что Синаев, под влиянием возрастных изменений, потерял вкус к скульптуре. Скульпторы в кафе «Ротонда» злословили. Синаев никогда не терял вкуса к скульптуре, без которой он не мог и дня прожить. Он хорошо знал и любил скульптурное ремесло. Легко работал. Мрамор, камень и глина охотно подчинялись его опытной руке. Он работал лично, без помощников (так называемых финитропов). Ему удавалось всегда улавливать сходство с моделью. Заказчики им были довольны. В салонах, в скульптурных отделах часто можно было встретить скульптуры в его стиле. Новаторством, как и все работы Синаева, они не блистали, но ярко свидетельствовали о большом мастерстве их автора.

Человек он был добрый, отзывчивый, но болезненно самолюбивый. Видно, тридцать лет неустанной борьбы за свое скульптурное место в Париже тяжело отразилось на его характере. Об искусстве с ним нельзя было говорить. Стоило мне коснуться какого-нибудь нового имени в скульптурном мире, Синаев вспыхивал и, перебивая меня, яростно бросал свои покрытые ревностью и злостью слова. Он не признавал новаторов, даже такого гения, как Роден. О его скульптурах он иронически говорил, что это «мешки с камнями». Не признавал он также Бурделя и Майоля, говоря, что это эклектики, наивные подражатели грекам. Особенно он ругал скульпторов, живших в Латинском квартале.

– Бездельники, страдающие манией величия! – цедил он.

Его раздражение быстро накалялось.

– Эти богемисты после нескольких лет жизни в вонючих отелях и кафе хотят получить орден Почетного Легиона и чековую книжку. Не выйдет! В Париже, дружок, надо десятки лет работать, как першерон, и тогда, – голос его театрально падает, – у вас будет право на деньги и славу. Легок труд только дельца.

Время от времени Синаев среди своей богатой клиентуры устраивал за двадцать франков мою картинку (сценки парижских кафе, я их писал на картонках). Мечтать о большой сумме я не имел права. Покупателей своих я не знал, да и не стремился с ними знакомиться. Долго и терпеливо ждал я дня, когда мэтр, торжественно сидя в высоком гобеленовом кресле, под сиявшим в золотой раме орденом Почетного Легиона, вручал мне двадцать франков! Какая большая сумма! Какое волнующее счастье – писать картины и продавать их в Париже!

Сколько, вспоминая, головокружительных планов создавал я, сидя за угрюмыми и липкими столиками кафе! Воображение рисовало мне чудесные поездки в Италию. Удачные этюды. Персональная выставка у крупнейшего маршана. Восторженные статьи в лучших журналах и газетах. Директор Люксембургского музея интересуется моей биографией. На мне, конечно, английский, стального цвета костюм и лаковые туфли. Ежедневные завтраки, обеды, ужины. С Парижем и критикой – дружба. Пора заискивания перед ними кончилась. Какие блестящие планы!..

\* \* \*

Однажды я отправился к Синаеву без корыстной цели. Просто посидеть в богатой мастерской и послушать старого парижанина. В кармане у меня позванивали три серебря-

ных франка, и Париж мне не казался недоступным. Был весенний лилово-розовый вечер. С сердцем, до краев наполненным радостью, я блуждал по паркам и улицам. Внимательно рассматривал нарядную толпу, позеленевшие от парижских дождей памятники и фонтаны, выцветшие и облезшие афиши, пестрые витрины магазинов. Заглядывал в маленькие дворики, где неожиданно встречал удивительную классическую архитектуру. Жадно вглядывался в уже засыпавшие набережные и вдыхал остро пахнувший мулями и смолой речной воздух. Незаметно я попал в район Триумфальной арки, а, попав туда, я не мог не вспомнить о «Марсельезе» гениального Рюда. Меня всегда волновала эта крылатая, точно бурей охваченная, зовущая к победе женская фигура. Я полюбил ее. Бывали дни, когда я думал о ней, как о живой. Часто я приходил к ней поделиться неприятностями, горем. И она, казалось, успокаивала меня, обнадеживала. И сейчас, глядя влюбленно на нее, я ее приветствовал:

«Привет, привет, моя очаровательная возлюбленная!»

Я чувствовал, что она рада моему приходу. Отдохнув около нее, я пошел к Синаеву. Через минут пять я уже стоял перед темно-зеленой дверью, ведущей в знакомый, усыпанный розовым гравием дворик с могучими, гостеприимными каштанами.

Синаев меня встретил удивительно радушно. Ласково поздоровался и предложил свое любимое, обитое гобеленом кресло.

Поставил передо мной старинной работы ореховый столик, принес чашку ароматного кофе и серебряную вазу, доверху наполненную шоколадным печеньем, и, улыбаясь, мягко сказал:

– Угощайтесь, милый друг, и рассказывайте, что делается на вашем чудесном Монпарнасе. Только поменьше о богемистах, – добавил он.

На Синаеве был новенький, из тонкого полотна, рабочий халат. Ослепительной белизны модный воротничок. Глаза, как всегда, потухшие.

Я рассказал ему о первом шумном выступлении независимых художников-кубистов.

– Все это, – прервал он меня, – шарлатанство. Гешефтмахеры. Время их скоро развенчает. Пройдет пяток лет, и их забудут.

Упрятав беспокойную голову в широкие плечи, он зашагал по мастерской.

– Знаете, кто поддерживает этих молодчиков? – спросил он. – Не знаете? Маршаны. Хозяева парижской художественной жизни. Это он и создают новые модные школы, чтобы потом хорошо на них зарабатывать. Модный товар легче сплавить. Особенно иностранцам. Поняли, мой друг?

– Да, – робко вставил я, – но о них критика тепло отзывается, новаторами считает, будущность обещает...

Синаев склонил голову, глаза его налились кровью.

– Какая критика?! – прошипел он. – Никогда не говорите мне о критике. У нас нет критики. Есть маршаны и их агенты. Критика здесь ремесло, хорошо оплачиваемое. Я никогда не встречал опрятных критиков и никогда не видел честных маршанов.

Усилия излить как можно больше желчи утомляли его мысль. Синаев передохнул, и я, воспользовавшись этим, спросил:

– Неужели, дорогой мэтр, все парижские критики дельцы? И все они продаются?

– Да, все, – ответил он резко.

– Не верю, не может быть! – сказал я. – Вздор! Есть скромные и честные критики. Люди с большим, светлым умом и теплым сердцем.

Синаев посмотрел на меня с недоброжелательством, смешанным с жалостью.

– Не говорите мне об этих дельцах! – и, подавляя раздражение, он громко продолжал:

– Я их хорошо изучил. За дюжину устриц и бутылку вина они вам все напишут: что вы – Делакруа, Рембрандт и что ваши картины могли бы украсить Лувр... Все напишут, все. У меня с ними разговор короткий: вон из мастерской или...

Он улыбнулся. Это была улыбка, полная иронии.

– Или великолепный обед с коньяком и ананасами, – полушепотом добавил он. – С ними иначе нельзя. Очень важно, разумеется, быстро оценить стоимость шкуры пишущего. Несколько минут он молчит.

Внимательно рассматриваю его работы. Бледно-желтые и голубоватые мраморы и серые камни, высеченные опытной, уверенной, но не взволнованной рукой.

Рядом со мной в мраморе бюст молодой женщины. Удивительно мягкое лицо с вьющимися, любовно отделанными волосами. Бюст был укреплен на высоком станке и торжественно возвышался над всеми другими скульптурами. Чувствовалось, что Синаев работу эту любил, высоко ценил и окружал гордым вниманием.

За открытым большим окном – парижский картинный закат.

Гаснущее желтое небо и пламенный шар, медленно и неохотно спускающийся за высокие лиловые крыши соседних домов. Потом шар исчез. Все скульптуры покрылись легким сумраком и потеряли свои очертания.

Порыв вечернего ветерка. Шевелятся занавески из прозрачной зеленой ткани. Запах каштанов, острый и сладкий, наполняет мастерскую.

Мы сидим неподвижно, восхищаясь наступающими парижскими сумерками. Момент поэтический.

– Какой великолепный вечер! – шепчу.

– Скажите, – спрашивает Синаев, – кто это критиканствует в «Парижском вестнике»? Не знаете, что это за тип?

– Знаю.

– Фамилия его настоящая?

Я назвал свою фамилию (Курганный – мой литературный псевдоним). Сумрак скрыл выражение его лица, но я почувствовал, что мое лицо сверлят два горящих изумленных глаза.

– Вот как! А я и не подозревал. Значит и вы, мой юный друг, критик! Критик! Критик! Хорошо! – повторял он.

С ним творилось что-то неладное.

– Идем в кафе! – вдруг воскликнул он. – Сейчас же! Нет, не в кафе, в ресторан.

И потом полушепотом добавил: «Пошли, пошли...»

Минут через пять мы уже шли по густо посиневшей сумеречной улице.

– Только не ломайтесь, мой друг, – слышу я голос, проникнутый сердечной дружбой. – Зайдем в недорогой, но чистенький ресторанчик. Терпеть не могу этих грязных и вонючих баров. Мы не собираемся кутить. Поужинаем. Только поужинаем...

Мы зашли в небольшой, уютный ресторан и сели за угловой столик. Ярko горели газовые лампы. Пахло скисшим вином, табаком и газом.

– Что вы любите, дружок? – спросил Синаев.

Из озорства мне захотелось ответить языком меню аристократического ресторана «Мирабо», но, подумав, я сказал:

– Жареный картофель, фасоль, мули.

– Что вы! Ведь это меню нищих, голодающих мазилок, – воскликнул он. – Поешьте, как следует, как настоящий парижанин.

– Гарсон! – и он начал шептать что-то быстро подошедшему и услужливо опустившему лысую голову официанту.

Впервые наблюдаю незнакомые суетливые жесты скульптора и думаю о тайниках его души. Кажется, что она, как земля в тундре, никогда глубоко не оттаивала. Сейчас холодное пламя коснулось и растопило только ее верхний тонкий пласт.

– Хотите, я научу вас пить и есть? – спросил он.

Я улыбнулся.

– Не улыбайтесь. Пить и есть – большое искусство. Да, искусство! Гарсон, принесите бокалы, бутылку вина и бутылку коньяку. Приходите в воскресенье, – шепотом заговорил он. – Поедем в Сен-Клу. Вы были когда-нибудь в этом чудесном городке? Париж в сравнении с ним – клоака. Вы любите провинциальные ресторанчики? Чудесные уголки! Вот где можно сытно и вкусно пообедать. Покатаемся по Сене. Полюбуемся живописными берегами. Для художника – это большая радость! Ну, давайте чокнемся!

С подчеркнутой любезностью он подал мне бокал вина, до краев наполненный красным вином.

– За ваше здоровье! Только пить до дна! – произнес он.

Я вежливо кивнул головой. Рядом с нами группа пожилых, подвыпивших французов. Их горячие движения кажутся искусственными. Они дружно вполголоса поют модную уличную песенку «Мариетту». Завидую им. Едят, пьют вино и за это не обязаны писать статьи о скульпторах. Их шкуру никто не ощупывает и не оценивает. Счастливы!

– Ну, пейте, мой святой Антоний!

После второго бокала голос его немного охрип. Лицо покрылось розовыми пятнами. Жесты стали сдержанными. Он тяжело дышал. Неожиданно он заговорил о родине:

– Скажите, дорогой, письма из России получаете? Очень хочется хоть одним глазом на миг взглянуть и подышать... Там, на моей Украине... тихие речки, мальва, аисты, арбузы... высокое небо.

Он задумался.

– Выпьем за украинское небо и мальву! – сказал он.

Выпили.

Пристально глядя на меня, с трудом передохнув от хмеля, он сказал:

– Поговорим о скульпторах. Знаете, мой дорогой друг, настоящая па рижская слава приходит к нам, когда сердце и желудок уже начинают сдавать. Ко мне имя пришло тоже, когда стукнуло пятьдесят лет. Теперь обо мне пишут, меня покупают... Имею орден Почетного Легиона. Я не могу жаловаться на свою судьбу, но... я устал и очень постарел. Не тот Синаев, который мог работать двадцать четыре часа в сутки. Не тот... Чтобы поддерживать свою форму – нужны силы, а их у меня очень мало... На Монпарнасе думают, что я пресытился милостями Парижа и теперь отдыхаю от трудов. Неверно. Работаю. Но мне, как старому актеру, нужно, чтобы два-три раза в году кто-нибудь аплодировал, чтобы моя фамилия появлялась в газетах. Помелькала. Публика быстро и охотно забывает своих любимцев. Поняли меня? Больше мне от критиков ничего не нужно. Ничего.

И, с необыкновенной для него мягкостью, добавил:

– Зачем вы занимаетесь критикой? Живопись лучше критики. Лучше быть голодающим художником, чем сытым критиком. Выкиньте за окно ваше перо и держите в руке только кисть.

И после молчания:

– Ну, давайте выпьем за безвестных скульпторов-тружеников! Пер шеронов, умирающих у станка от разрыва сердца.

Опять выпили.

Не докурив старой папиросы, он брался за новую. И, глядя мне в глаза, сказал:

– Вы хотите, мой юный друг, доказать, что не продаетесь и продаваться не будете? Так? Но ведь вы только вступаете на этот скользкий путь. Вы не знаете, каким будете через два-три года. Париж вас обязательно изменит. Вы не первый и не последний.

И, сдерживая себя, прибавил:

– Если вы себя считаете честным критиком, напишите о творческих страданиях, которые молодой скульптор здесь переживает. О борьбе, которую он здесь ведет, чтобы не погибнуть. Это страшная борьба. Понимаете?

И погода:

– Напишите о моих провалах, неудачах. О том, как часто приходило ко мне опустошающее безверие. Вы знаете, что значит потерять веру в себя? Это замирание пульса. Путь к творческой смерти. Да, к смерти...

И прибавил:

– Вот в такой тяжелый момент суметь укрепить веру в себя. Надо уметь...

И после минутного молчания:

– Ежедневно работать, напрягать свою волю и ежечасно внушать себе – ты талантлив. Ты выйдешь на первую линию. Ты победишь. Работать даже тогда, когда работа тебе не приносит удовлетворения. Я не сдавался. Работал, как черт. Худел... Голодал... Хворал, но работал. Вокруг меня шумел Париж с его кафе, ресторанами, выставками, салонами, а я все работал. Критики об этом писать не любят и не умеют.

Синаев устал и смолк. 12 часов ночи. Сонный официант вежливо попросил нас уплатить за съеденное и выпитое и оставить ресторан.

– Мы закрываемся, – прошептал он.

Синаев достал бумажник и отсчитал следуемые деньги.

Еле держась на ногах, мы прошли меж опустевших столов и вышли на улицу. Повяло свежестью осенней ночи. Тускло горели газовые фонари. Было тихо. Против нас, озаренный бледным светом окон ресторана, у дерева стоял фиакр. На козлах дремал толстый кучер. Его большой клеенчатый цилиндр съехал на бок. Под его усами чернела забытая тяжелая трубка. Шатаясь, Синаев подошел к извозчику и, с напускной развязностью, произнес:

– Довольно, друг мой, спать! Отвези этого охмелевшего богатого иностранца в его роскошный отель... на улицу Сен-Жак в отель «Генрих Четвертый».

И, проворно сунув несколько монет в карман толстяка, бросил: «Смотри, не урони его! Он мне очень нужен!»

Я залез в фиакр. Он зашатался, задрожал и лениво поплыл по уже засыпавшим улицам. Убаюкиваемый ритмичным покачиванием, я быстро уснул.

Наступило воскресенье. Наспех побрившись и позавтракав чаем с сухарями и моим дежурным блюдом «бри», я отправился на Триумфальную площадь. Был серебряный поэтический день. Из-за легких облаков показывалось небольшое, тусклое, точно марлей затянутое, равнодушное солнце. Глядя на Париж, я вспомнил нежные пейзажи королей французского неба – Кору и Будена. У Арки Победы я остановился, поклонился моей любимой «Марсельезе». В тот день я особенно жадно и любовно вглядывался в нее, тайно мечтая о ее поддержке.

На ее больших крыльях, казавшихся бурей гонимыми облаками, слабо горел отблеск раннего осеннего неба.

– Как ты советуешь, мой кумир, – шепотом обратился я к ней, – идти мне к скульптору или вернуться в мой отель?

В глазах кумира я прочел: «Вернись в отель».

– Неужели тебе не жалко меня?

И я прочел: «Не пой Лазаря».

Я почувствовал себя пристыженным. Спорить с моим безжалостным кумиром было бесполезно. Постояв перед ним несколько минут в горестном размышлении, я прошептал: «Бездушная...» И, не прощаясь с ней, медленно побрел обратно в свой унылый отель.

## Парижская весна

Весна началась и в России. Из русских газет я узнал, что Северная Двина уже вскрылась, что глубокий снег, выпавший недавно, и большая толщина льда предвещают бурный ледоход, «что на юге цветет клен остролистный, распускаются розы, вяз и желтая акация и что идет кладка яиц у хищников – сарыча и коршуна». Крепко запахло Россией. Эти вести так ярко передавали образ нашей весны – ее медленные, тихие шаги, ее полную и высокую, волнуемую грудь, неисчерпаемую щедрость. Мне даже показалось, что от газетного шрифта, которым были набраны эти вести, несло легким запахом цветения. Чтобы быть в курсе того, как проходит у нас весна, я решил чаще ходить в студенческую библиотеку, где русских газет было сравнительно много. Кроме того, там по вечерам можно было получить стакан теплого, дармового чая.

В Париже уже зазеленели парки. На черных ветках степенных каштанов распустились бледно-желтые листочки. Голубые, прозрачные тени окутывали дома, людей, одетых в легкие пестрые одежды. Забирались даже в сердце, усиливая пульс и изменяя походку людей и жесты. Асфальт высох. В памяти вставали парижские пейзажи Клода Моне и Писсарро, давших верный, исчерпывающий образ весенних, залитых веселым солнцем парижских улиц, бульваров и набережных. Можно ли после этих мастеров что-нибудь прибавить к их живописи? Сомневаюсь.

12 часов дня. Вся Франция сейчас ест и пьет, пьет и ест. Мне так мало нужно, чтобы участвовать в весеннем празднике. Мне нужны каких-нибудь два или три франка... и я – участник в весеннем празднике... Завтрак – шестьдесят или семьдесят сантимов, чашка шоколада в воротах утреннего Сен-Жака и сэндвич с ветчиной, потом обед в тесной и липкой обжорке «Мать с очками» из двух блюд – суп гороховый и фасоль с мясом.

## Влюбленные

1912 год. Они появлялись на Сен-Мишеле, как только сумерки мягко окутывали бульвар легкой синевой, и шли вверх от музея Клюни к площадке Обсерватуар.

Они шли медленно, тихо и молча. Дойдя до «Египетского кафе» они останавливались, несколько минут рассматривали сумеречное небо и шедших вверх и вниз веселых людей. Потом они неторопливо усаживались на стоявшую против кафе под черным деревом равнодушную скамью. Склонившись к своему возлюбленному, девушка клала свою небольшую голову на его плечо, а он свою возлюбленную скульптурно обнимал. И застывали. Так они сидели около часа.

Яркий газовый свет, падавший из дверей и окон кафе, театрально их освещал. Я их хорошо рассмотрел. Лица – скромные, спокойные и простые. Резкие звуки джаза, вырывавшиеся из дверей кафе, и уличные песни подвыпивших художников и студентов, окружавших кафе, их не беспокоили. Потом влюбленные впадали в привычную и приятную дремоту.

Часов в десять, когда движение и шум на бульваре усиливались, возлюбленный крепко обнимал свою возлюбленную и оба засыпали. И казалось, что передо мной каменная глыба работы ранних греков. И веяло от них также чудесной скульптурой Родена «Поцелуй».

Все назойливее становился шум бульвара и кафе, душнее был, отравленный газом и вином, ночной воздух Сен-Мишеля, а они спали каменным сном.

Проходя мимо них, я всегда на несколько минут останавливался, пристально и с жаром их рассматривал и напряженно думал об их жизни, судьбе... Кто они? Чем занимаются?

Почему нужда их ежедневно гонит на ночной и пьяный Сен-Мишель? Как-то раз я близко подошел к ним. Мне хотелось проверить, шепчутся ли они между собой, но они крепко спали.

В другой раз, тронутый их таинственным, волнующим образом, я бросил им на колени несколько нарциссов, но никакой реакции не было.

Моя память, умеющая хранить и беречь прошлое, сохранила еще одну яркую сцену, связанную с этой влюбленной парой.

Однажды поздно ночью я возвращался домой и по привычке шел по Сен-Мишелю. Проходя мимо моих возлюбленных, я, конечно, не мог не остановиться, чтобы передать им мой сердечный привет. Глядя на них, я всегда ощущал радостное волнение, наполнявшее меня большой нежностью к ним. Я стоял и глядел на них.

И вдруг из кафе выскочила молодая женщина и, бросившись на соседнюю скамью, руками охватила голову и истерично стала орать: «Ma tete, ma tete!» («Моя голова, моя голова!»)

Ее обступила толпа. Начали ее успокаивать, но молодая женщина продолжала кричать. Ее страшный, пугающий крик раздавался по всему бульвару и, казалось, достигал черного неба и волновал сонные звезды.

Я поглядел в сторону моих окаменевших влюбленных. Меня интересовало, как они в этот момент будут реагировать, но они беспробудно спали.

Рисовать их было неинтересно. Это была бы только начатая глыба, которую скульптор собирался обсекать. Ни в одном парке или саду в таком виде ее нельзя было поставить. Она бы выглядела изолированной и полуживой.

Я рассказал об этих влюбленных Мещанинову. Он обещал пойти на Сен-Мишель ночью. Поглядеть на них и, «если захватит и увлечет», вылепить их.

Вылепил ли он их? Навряд ли.

## Огюст Роден

Теплый весенний день выгнал меня из мастерской на улицу. Часок посидел в Люксембургском саду около любимого фонтана Карно, а потом отправился в центр – на бульвары. Ходил, глядел и вспоминал работы Писсарро, Моне, Матисса, сравнивая натуру с их живописью. До чего же правдивы их этюды! Убежденные реалисты! Но какой живописный, романтический и поэтический реализм! Я испытывал странное ощущение: мне казалось, что бульвары и улицы созданы по этюдам этих гениальных импрессионистов.

Какой вздор говорили и писали враги импрессионистов! Будто эти «художники имели дело только с чувственно ощутимой поверхностью предмета, а не с его сущностью». Неверно. Их творчество всецело погружено в поток свежих впечатлений, идущих от этой и только этой натуры. Они свои полотна ничем не подслащивали. Имели дело только со свежей, незамутненной красотой.

Гуляя по центру, я набрел на особняк Бернгейма. Меня всегда тянуло в богатейшую галерею этого просвещенного и умного маршана. У Бернгейма я всегда находил редкие, совершенно неизвестные шедевры давно ушедших в прошлое великих мастеров. Таких как Курбе, Коро, Домье, Мане, Бастьен-Лепанж. И теперь в его уютных залах я увидел двух новых для меня Домье. Какая радость!

Домье был философ, всю жизнь мечтавший о том, чтобы научить людей делать добро. У него нет ни одного полотна, рисунка, в которых он показал бы себя равнодушным к страданиям людей. Это был человек редчайшей доброты. И его мазки и штрихи сделаны доброй, отзывчивой рукой.

Остановившись, зачарованный его сияющим, богатым творчеством, я вдруг услышал взволнованные восклицания: «Шэр мэтр, шер мэтр!» Оборачиваюсь. И чувствую, что бледнею. Вижу великого Родена в сопровождении двух молодых очаровательных рыжеволосых англичанок. Роден в светло-пепельном костюме, девушки в голубо-розовых легких платьях, подобных весенним облакам. Все трое медленно и мягко шли по центральному залу и добродушно жали протянутые зрителями руки. Протянул и я великому гению свою руку и от счастья, которое я испытывал, почувствовал себя сраженным. Я жадно глядел на Родена. Низкорослый крепыш с большой, стриженной, как у ассирийского бога, седой бородой. Галльская голова на короткой, розовой шее.

Были моменты, когда мне казалось, что идущие рядом с ним две рыжие англичанки олицетворяли его творческий мир. И что они являлись символом его нового молодого течения в скульптуре.

Все искусствоведы согласны с теми скульпторами, которые утверждают, что Роден – Микеланджело нашего времени. В своем творчестве он отразил современную эпоху. Ее характер, страсти и идеи.

\* \* \*

На следующий день в газетах был напечатан отчет об этом национальном торжестве. В одной из газет я прочел, что около министра культуры, поздравлявшего Родена, стоял какой-то мальчик. Министр схватил мальчика за плечо, подвел его к Родену и торжественно, как умеют французы, произнес: «Мальчик, погляди на этого человека! Когда вырастешь, ты сможешь сказать, что видел самого великого человека Франции!..»

\* \* \*

На нашу русскую скульптуру Роден оказал большое влияние. Такие крупные мастера, как Голубкина, Мухина, Трубецкой, Аронсон, Синаев, Лебедева, Меркуров и другие своими знаниями скульптуры, опытом и вкусом обязаны исключительно этому великому мэтру. В наших музеях имеются его знаменитые работы: «Мыслитель», «Граждане Кале», бюст Виктора Гюго, «Поцелуй» (в уменьшенном размере) и другие.

Глядя на его работы, я всегда вспоминаю его негаснущую фразу: «Композицию создает природа. Мне незачем создавать ее заново...» Но у него нет ни одной работы, в которой он природу не создавал бы заново. Лучшим примером этого являлся бессмертный «Мыслитель».

## Сара Бернар

1912. Последние колоритные дни здешней осени. Опять увлекся живописью. Пишу уличный пейзаж. Вид Сен-Жака из моего окна. Стук в дверь моего номера – гарсон принес пневматичку. Редактор «Парижского вестника» Белой просит меня в субботу, часов в девять утра, зайти в редакцию.

Я пришел. Сажу в кабинете редакции.

– Сходите, мон шер, – сказал редактор, крепко пожимая мне руку, – в театр Сары Бернар и зарисуйте знаменитую актрису. Ходят слухи, что после этого сезона она покидает сцену. Я вам дам письмо к администратору театра.

Я согласился.

На следующий день я отправился в театр.

Я передал письмо администратору и получил пропуск. Билетерша повела меня в партер и усадила на одно из первых свободных мест.

Я с волнением ждал спектакля. Шла любимая пьеса Сары Бернар «Дама с камелиями». С большим вниманием я разглядывал собирающуюся публику. Чувствовалось, что люди пришли попрощаться со своей любимицей и выразить ей свою благодарность за те душевные радости, которые она в течение всей своей творческой жизни доставляла публике.

Я знал, что художников Сара Бернар покоряла своей выразительной красотой. Ее живописная и большая голова, высокая шея, гибкий торс и особенно тонкие, нежные руки, какие я видел у средневековых мадонн, были полны обаяния. Многие парижские художники втайне мечтали написать ее портрет. И конечно же, с ее поэтичными руками. Я вспомнил замечательный портрет Сары Бернар, написанный отцом французского реализма Бастьеном-Лепанжем. Сколько в этом портрете грациозности, поэзии и любви к модели!

И вдруг около меня появилась другая билетерша. За ней тяжело следовали какие-то пожилые люди. Они были в черных сюртуках. Плечистые, с каменными лицами. Их было пятеро. Билетерша наклонилась ко мне и громко шепнула:

– Месье! Встаньте, это место для клакеров.

Я был удивлен. Знаменитая Сара Бернар и клакеры! Неужели ей нужны клакеры? Очевидно, отвечал я себе, таковы театральные традиции Парижа, от которых нельзя отказаться.

Билетерша отвела меня на другое место и небрежно бросила:

– Вот место для прессы.

Поднялся занавес.

Я впился глазами в актрису – пожилую, сутулую, заговорившую старческим голосом. Клакеры, будто пять огромных заведенных кукол, равнодушно зааплодировали. Публика, ценя прошлое великой актрисы, зааплодировала искренне и горячо.

Грустно было видеть вялые движения и усталые жесты некогда великой актрисы. Казалось, что я наблюдал отблеск заката великого таланта. Потом, силой актерской привычки, она вошла в роль. Движения стал и более ритмичными и пластичными. Исчезли сутулость, вялость. Как будто бы она сбросила с себя старость. Я стал забывать, что передо мной старуха.

В антракте, не дожидаясь конца оваций, я поспешил за кулисы, чтобы успеть закончить два начатые наброска. За кулисами меня встретила женщина высокого роста, в черном платье и белых перчатках. На скромно причесанных волосах белел чепчик. В ее облике было что-то от монашенки.

– Что вам угодно, месье? – строго спросила она.

– Я – художник. Послан редакцией газеты, чтобы нарисовать Сару Бернар, о которой ходят слухи, что сегодняшний спектакль – последний, что знаменитая актриса покидает

театр и прощается с парижской публикой. Я ее не утомлю. Рисовать буду быстро, – добавил я, стараясь внушить уважение к моей скромной персоне.

– После спектакля, – ответила камеристка, – мадам Бернар очень устает и никого не принимает.

Я ушел. Все остальные акты я просидел, упорно думая о старости. О страшной, безжалостной старости, сжигающей в людях искусства все их творческие силы. Об изнуряющей борьбе, которую ежечасно должна вести со старостью великая актриса. И о том, как после спектакля она вновь отдавалась в плен старости, с которой во имя жизни надо было дружить. Мне вспомнился символический рассказ Мопассана «Маска».

Так мне и не удалось зарисовать постаревшую Сару Бернар.

## Пушкинист Онегин

В 1912 году, осенью, в Париже в театре Сары Бернар состоялся вечер, посвященный памяти Герцена. На вечере со своими удивительными воспоминаниями выступал известный пушкинист, собиратель реликвий Пушкина – Александр Онегин (Отто). Когда он вышел на сцену, я увидел невысокого старика с головой, словно отлитой из серебра. Черный костюм подчеркивал его небольшую фигуру. Публика горячо зааплодировала. Онегин поклонился и начал глухим голосом медленно рассказывать о встрече с убийцей Пушкина – Дантесом. В зале воцарилась тишина.

До сих пор помню ту взволнованность, которую я ощутил, когда он начал рассказывать об этой встрече. У меня дрожали руки и колени, сидеть было невозможно. Я встал и слушал его стоя. Большинство людей, я заметил, также стояли и казались загипнотизированными. Тишина была настолько абсолютной, что даже его глухой голос был слышен. Мне казалось, что я слышу повышенное биение сердец застывших людей. И когда Онегин начал подробно рассказывать о внешнем виде Дантеса, о том, как убийца высокомерно себя держал, он, проглатывая слезы, замолк и потом, через минуту, сильно волнуясь, продолжил:

– Знаете, кого вы убили?... Вы убили наше солнышко... И сдавленным голосом, почти шепотом, добавил:

– Гордость России!..

– А я, – нагло ответил мне убийца, – сын французского сенатора.

Онегин окончил свой скорбный рассказ, устало поклонился и маленькими шажками направился к кулисам. Буря аплодисментов заставила старика остановиться.

Многие бросились к авансцене, чтобы поближе разглядеть живой осколок ушедшего мира. Несколько мгновений быть ближе к прошлому... Вероятно, были такие, которые стремились пожать старческую руку, столько раз державшую реликвии нашего великого поэта... солнышка России...

Онегин остановился. Постоял минуту, сделал прощальный жест рукой и оставил сцену, точно он растаял в декорациях. Взволнованные его выступлением люди долго не расходились.

Прошло почти полвека. Но стоит мне сделать небольшое напряжение памяти и вызвать из глубины ушедшего и отцветшего времени фигурку окутанного уже легендой старичка Онегина с его волнующими воспоминаниями – и я вновь переживаю этот вечер и вновь дрожат мои руки и колени.

## Я видел Жореса

Однажды рано утром, когда Жак и я, укрытые пальто и старыми холстами, крепко спали, в мастерскую ворвался Мещанинов.

– Вставайте, ребята! – выпалил он. – Есть малярная работа! В Малаховке.

И, тяжело переводя дыхание, добавил:

– В кармане путевка... Дал ее мой приятель, секретарь Союза Строительных Работ – Лабуле.

Понизив голос, добавил:

– Только не медлите! В девять часов надо уже быть на работе.

И исчез. Точно сон наяву.

Мы быстро оделись, наспех позавтракали и, захватив рабочие халаты и папиросы, бросились на улицу, где нас ждал вспотевший Мещанинов.

На вокзале наш бригадир, наполненный геройским воодушевлением, втолкнул нас в первый попавшийся вагон старомодного поезда и громко сказал:

– Помните, ребята, отныне вы не художники из «Ротонды», а маляры из строительного Союза.

Потом, помолчав, добавил:

– Забудьте на один день о Мане, Ренуаре и Сезанне...

Через десять минут невзрачный паровоз уныло взревел и наш поезд, с наигранной живостью, понесся в Малаховку, куда мы благополучно прибыли в 9 часов утра.

Малаховка (Malakoff) – небольшой тихий городок. Увидев его, я вспомнил поэтические пейзажи замечательного Писсарро. Приветливые белые двухэтажные домики, ярко зеленые жалюзи, французские высокие красные крыши. Над ними нежно-голубое, ласковое небо. На улицах величественные каштаны и клены, которые, вероятно, должны были малаховцам внушать радость и бодрость.

В конце городка мрачные казенные склады – очевидно, объект нашей будущей малярной работы.

Разыскав шефа работавших там маляров, Мещанинов торжественно вручил ему путевку. Отрекомендовав меня и Малика как двух опытных маляров, он сказал:

– Время не ждет. Дайте нам краски и кисти. Мы хотим, не теряя времени, работать.

Поглядев на нас недовольными глазами, шеф иронически улыбнулся и спросил:

– Скажите откровенно, вы художники с Монпарнаса?

– Что вы! Что вы! – гордо ответил ему наш бригадир. – Мы – маляры. Настоящие профессионалы.

И, с подчеркнутым рабочим достоинством, добавил:

– Русские эмигранты.

– Посмотрим... посмотрим... – тихо и недоверчиво сказал шеф. Вид его не внушал нам симпатии. Это был молодой человек с лицом и жестами уличного циркача. Он еще раз на нас поглядел и, презрительно улыбувшись, ушел.

Через минут пять он вернулся с тремя малярными кистями и двумя большими банками, доверху наполненными красной охрой.

– Вот! Получайте! – сказал он небрежно. – Только краску экономьте!

Поставил он нас на самом безжалостном солнцепеке. Около мрачного одноэтажного здания.

– Красьте оконные рамы, – добавил он сквозь зубы. – Их здесь четырнадцать штук. Запачкаете подоконники – вычту из заработка. В обеденный час приду к вам. – И растаял.

Мы одели халаты и с жаром взялись за работу. Весело поглядывая друг на друга, мы понимали, что наше положение придает нам какую-то зыбкую прелесть.

Ровно в двенадцать часов явился шеф. Он свирепо поглядел на нашу работу и с раздражением бросил:

– Немедленно оставьте работу и убирайтесь к черту! Вы мне загадили все подоконники. Вам писать картины, а не красить окна!

И, глубоко вздохнув, процедил:

– Ваш рабочий день кончился. Получайте по семь франков и отчаливайте.

Мы почувствовали себя униженными и оскорбленными. Защиту нашей чести взял на себя Оскар. Он умел говорить. И, когда нужно, с искренней слезой.

– Камрад, – обратился он к шефу, – вы оскорбили рабочих-эмигрантов. Мы не ждали от французского рабочего такого недружелюбия. Вы оскорбили рабочих-иностранцев, попавших в нужду. Стыдитесь, камрад! Я пожалуйу Мишелю Лабуле.

– Убирайтесь, – вскипел шеф, – пока я вас не выставил! Богемисты!

Оскар взял двадцать один франк у шефа и, не глядя на него, процедил:

– Возмутительно!

Мы ушли с гордо поднятой головой как незаслуженно оскорбленные.

Выйдя на улицу, мы весело переглянулись и быстрым шагом направились в кафе. Пообедав и опустошив литровку красного, мы почувствовали себя охмелевшими, не лишенными бодрости парнями.

Чтобы развеселиться и отдохнуть, мы забрались в ближайший сад и живописно расположились в тени стога скошенной ароматной травы.

Надвинув шляпу на лоб, Малик вскоре счастливо захрапел, а я и Мещанинов, покуривая и разглядывая равнодушно висевшие над нами облака, вслух думали, как трудно завоевать симпатию высокомерного Парижа.

Вино обогатило наше воображение и наделило радужными отблесками победных достижений, но мы понимали, что они так далеки от реального мира, как эти облака от земли.

Вечером, отдохнувшие и готовые драться за себя, мы вернулись в Париж.

После неудачной гастрольной поездки в Малаховку нас потянуло к живописи. Захотелось написать богатый по форме и цвету натюрморт (вазу, цветы и фрукты). Но у нас было мало денег. Надо было довольствоваться скромной натурой. Решили купить недорогой букет цветов. За дело взялся Малик. Он отправился на толкучку Муфтарку к знакомой цветочнице и купил большой красивый букет цветов, уплатив только один франк.

Пять дней мы безмерно наслаждались живописью. Мы писали на старых, записанных полотнах. Широко пользуясь прокладками и фактурными приемами, работали, как одержимые. Меня поражала моя палитра, заполненная ярчайшими красками, которых раньше мне не удавалось достигнуть. Я старался передать тональность каждого цветка, каждого лепестка. Это был нелегкий, но благодарный труд. И вдруг мне пришла в голову мысль, что каждая краска, положенная на холст, таит в себе какую-то музыкальность и может быть изображена какой-то нотой... И что вообще живопись – это музыка, изображенная красками, формой и мыслями, сложными и тонкими отношениями.

Я хорошо понимал, что эта мысль пришла ко мне только после знакомства с двумя выдающимися колористами Ренуаром и Боннаром.

Через неделю Мещанинов сообщил нам, что был в Союзе Строителей, виделся с секретарем Лабуле, и тот ему сказал:

– Назревают большие события. Надвигается забастовка, в которой вы обязаны участвовать.

– Я, разумеется, с ним согласился. Я ему сказал, что на нашу бригаду можно рассчитывать, как на верных друзей.

Уходя, Мещанинов бросил:

– Итак, друзья, завтра встретимся в Союзе. Не забудьте адрес Союза: бульвар Араго, 27.

Когда на следующий день мы пришли в Союз, все его залы были заполнены рабочими. Было шумно и душно. Увидев нас, Лабуле подошел к нам и громко, чтобы слышали стоящие возле него рабочие, сказал:

– Дорогие друзья! Помните, что мы вас рассматриваем как представителей русских рабочих, и, чтобы оказать вам достойную честь, мы по садим вас в первом ряду, около сцены.

И добавил:

– Я должен вас обрадовать – к нам в гости обещал приехать Жорес.

Мещанинов тепло его поблагодарил за оказанную нам честь и сказал, что мы берем на себя художественно-агитационную работу.

– Хотя мы маляры, – сказал он, – но неплохо умеем делать карикатуры и писать лозунги.

Лабуле был счастлив.

Меня Мещанинов представил как опытного карикатуриста, Малика как бывшего шрифтовика, а себя рекомендовал как агитатора-организатора. Секретарь пожал нам всем руки и сказал, что он высоко ценит наш вклад в забастовочное дело и сердечно благодарен. Тут же он вручил нам три пропуска на союзную продуктовую базу, где мы будем получать рабочий паек.

И дружески сказал:

– Это наш подарок за ваш будущий труд.

Мещанинов с беспредельным воодушевлением ответил:

– Мы все сделаем, чтобы заслужить этот подарок.

Ушли мы в свои мастерские с таким видом, точно счастье шло с нами в обнимку.

\* \* \*

Каждое утро мы втроем приезжали к Лабуле и получали темы для лозунгов и карикатур. Потом мы шли в большую комнату, где для нас были приготовлены белые картоны, натянутые на подрамники полотна, гуашные краски Лефрана и всех номеров кисти. Сюда к нам часто приходил Лабуле.

Он не давал остыть нашему рабочему энтузиазму, согревал нас своим чисто парижским юмором. Мы с ним подружились. Его приветствие: «Comment за va, cher ami?» («Как дела, дорогой друг?») – всегда казалось насыщенным утренним весенним небом.

Впервые в жизни я рисовал карикатуры. Настоящие, профессиональные, грамотные карикатуры.

Чтобы быть похожим на технически подкованного карикатуриста (я помнил, что таким меня Мещанинов рекомендовал Лабуле), я покупал в газетных киосках юмористические журналы и оттуда брал готовые, хорошо отшлифованные традиции, технику и приемы.

Какой интересный и богатый мир открылся передо мной!

Я тогда понял, что можно всю нашу жизнь со всеми ее страстями и даже страданиями рассматривать как бесконечную нить юмористических явлений.

Понял я и природу высшей формы юмора – иронию.

Для меня стало ясным, что юмор не только в том, чтобы показать смешное в нашей жизни, но и в том, чтобы вскрыть ее уродливые и бессовестные стороны.

Большое впечатление произвело на меня то, что все выдающиеся французские карикатуристы – великолепные рисовальщики. Оригинальные и тонкие художники!

Работы таких великих мастеров карикатуры и шаржа, как Домье, Гаварни, Форен, Стенлейн (он же замечательный плакатист), могли бы украсить стены любого художественного музея.

Увлеченный творчеством этих мастеров, я всегда после удачного заработка, отправлялся на набережную Сены и покупал за франк у букинистов две или три литографии этих чародеев. И в мастерскую возвращался счастливым.

\* \* \*

Девять лет спустя, когда я уже в советской Москве связался с известной РОСТой и начал работать под руководством Маяковского (писал Окна Сатиры), я часто с большой благодарностью вспоминал парижскую рабочую забастовку, давшую мне первые уроки карикатурного искусства. Пожалуй, без этой подготовки я бы не мог справиться с техникой плаката.

Мы жили припеваючи. Часто, собираясь в чьей-нибудь мастерской, мы вслух мечтали о грядущей творческой жизни. В такие часы мы создавали много блестящих этюдов и набросков. Мы много сил и времени отдавали Союзу Строительных Рабочих, но в часы отдыха мы думали и спорили только о живописи. О Мане, Ренуаре, Боннаре, Матиссе, Пикассо. Бывают такие дни у художников, когда они работают только в мечтах. Когда они, вдохновленные переживаемыми яркими событиями, будто бы держат в руке кисть и пишут. Точно во сне. Когда они видят окружающий мир в четкой форме, гармонических красках... И когда они пишут свои наилучшие работы. Такие дни обогащают душу художника.

Сегодня, на седьмой день нашей героической работы, в мастерскую пришел возбужденный Лабуле. Лицо его казалось освещенным ранним майским солнцем.

– Дорогие друзья, – воскликнул он, – через три дня у нас будет Жорес! Наш дорогой, любимый Жорес!

Глубоко вздохнув, он продолжал:

– Он приезжает, чтобы поддержать нас и укрепить веру в победу.

Мы его обняли и поздравили с большим, вдохновляющим событием.

Постояв с нами несколько минут, он сорвался и куда-то умчался. Через минут десять он вернулся. В руках у него была небольшая фотография Жореса.

– Надо великого гостя, дорогие друзья, – сказал он, – встретить достойно. Хорошо бы написать большой портрет Жореса... Портрет повесим над входом в Союз, в знак приветствия.

И, пристально поглядев на Мещанинова:

– Беретесь ли, друзья?

– Беремся, – бодро ответил Мещанинов, многозначительно взглянув на меня. Я кивнул головой.

Два дня писал портрет. Потом его вставили в готовую дубовую раму и повесили над входной дверью Союза.

Увидев портрет, Лабуле бросился ко мне и крепко пожал мои руки.

– Очень хорошо! Очень хорошо! – повторял он.

\* \* \*

Большой зал переполнен рабочими. Они сидели на стульях, стояли на балконах и в проходах. Мы как почетные гости сидели в первом ряду. Ровно в семь часов на сцену вышел Жорес. Раздался оглушительный взрыв аплодисментов. Мы, конечно, также лихо аплодировали.

Жорес стоял посредине сцены и любовно смотрел на своих друзей.

Так продолжалось минут пять. Наконец уставшие рабочие стихли. Воцарилась тишина. Густая, почти ощутимая.

Раздался громовой баритон Жореса:

– Дорогие друзья! – медленно отчеканивая каждое слово, начал он, – я приехал, чтобы сказать вам, что мы все время следим за вашей героической борьбой. Мы восхищены вашим мужеством и непоколебимой волей к победе. Мы верим, что она будет... Она уже стучится к вам...

Опять взрыв аплодисментов и выкрики: «Жорес! Жорес!»

Жорес остановился и смолк.

Я старался разглядеть его лицо, жесты и движения. Это был коренастый человек, среднего роста, склонный к полноте. Большая галльская голова гордо покоилась на круглых плечах. Небольшая, с проседью, борода.

Ходил он по сцене медленно, тяжело ступая, под такт своих пламенных слов. Руки его ритмично поднимались и опускались. Порой, чтобы подчеркнуть в борьбе силу удара, он их соединял. Глядя на него и слушая его вдохновенную речь, трудно было не верить в победу бастовавших.

Я поглядел на рабочих, зачарованных его удивительным темпераментом, блеском логики и ума. От волнения они задыхались.

Дождавшись тишины, Жорес продолжал. В необычно колоритных тонах он рассказывал, как недавно руководил бастовавшими углекопами и с каким трудом добился лучезарной победы.

Выступление Жореса подняло настроение рабочих.

В редактируемой им газете «Юманите» была напечатана статья о блестящем выступлении Жореса в Союзе Строительных Рабочих.

\* \* \*

Одиннадцатый день забастовки.

Сегодня утром, когда мы, напевая украинские песенки, увлеченно работали, в мастерскую ворвался Лабуле и воскликнул:

– Забастовка кончилась! Все наши требования домовладельцами приняты и удовлетворены! Надо сообщить рабочим.

И, обращаясь к Малику, волнуясь, сказал:

– Дорогой друг, срочно пишите плакат. Вот вам его содержание! – И он подал ему блокнотный лист с содержанием плаката.

Уходя, Лабуле остановился и бросил:

– Слова: «Все наши требования домовладельцами приняты и удовлетворены» – пишите крупным шрифтом и красной краской, чтобы выделялись.

И убежал.

\* \* \*

Двенадцатый день забастовки.

Мы пришли в Союз попрощаться с людьми, память о которых будет всегда храниться в глубине наших сердец.

Мещанинов выступил с яркой речью. Он был в ударе и говорил, как опытный оратор. Он душевно благодарил рабочих и их славного организатора Лабуле за дружбу, теплоту и любовь.

– Память о вас и о героической забастовке мы сохраним как светлое, счастливое событие в нашей жизни! – сказал он.

Потом говорил Лабуле. Он тоже говорил в высоком французском стиле.

Потом нас Лабуле и члены забастовочного комитета обнимали и целовали.

\* \* \*

Ночью, лежа в постели, я все вспоминал героическую десятидневную работу в Союзе Строительных Рабочих и не мог заснуть. Вспоминал душевных, редкой доброты и благородства людей, с которыми мне там приходилось встречаться...

Впервые я узнал очаровавших меня французских рабочих, их вождя, гениального Жореса. Какое это счастье! Редкое, неповторимое счастье!

Имею ли я основание после этого Париж называть холодным и бездушным!?!..

## Старый парижанин Леон

У нас были друзья, не занимавшиеся живописью или рисунком, но вместе с нами делившие все тяготы искусства. Они никогда не читали книг по вопросам изобразительного искусства, редко посещали музеи, салоны, но были в курсе всех новостей художественной жизни Парижа. Хорошо знали все интимные стороны личной и творческой жизни Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Утрилло.

К таким друзьям принадлежал наш постоянный натурщик Леон. Его бесстрастное спокойствие во всех рискованных делах, какая-то ленивая самоуверенность в походке и жесте, а также хлесткая, ироническая фраза делали его не похожим на всех нас. Он обладал завидной способностью привлекать к себе монпарнасских натурщиц, видевших в нем своего бескорыстного и вернейшего друга. Они ему больше доверяли, чем своим любовникам. Он умел находить молочниц, отпускавших бедным художникам в кредит молоко, сыр-бри, шоколад, знал все женские монастыри, где по утрам можно было выклянчить чашку молока и кусок свежего хлеба, знал, где на барахолках можно было за какие-нибудь двадцать франков достать один только раз одеванный, модный, стального цвета английский костюм. Чего только не знал и не умел Леон?

Он умел находить интересных и талантливых людей. И был рад, почти счастлив, когда находил их. Ему нравилось бродить по улицам, паркам и бульварам (особенно Большим). Он любил долго и внимательно глядеть на живописные потоки фиакров, людей. Он посещал кафе, дансинги и обжорки. У него было много знакомых и друзей, с которыми он вел бесконечные разговоры и пил вино. «Ночные бабочки» его обожали. И часто угощали его вином и интимными историями. Он пробовал заниматься искусством, но оно не давалось ему. «А вот литературе я нравлюсь», – говорил он. Его дневники быстро заполнялись различными наблюдениями. Он их собирал как рабочий материал для романа, который писал уже два года.

Но все это ничего не стоило в сравнении с его беспримерным талантом находить деньги на улицах. Не отступавшая от Леона нужда, видимо, хорошо поработала над его зрением. Он мог на большом расстоянии увидеть валявшуюся где-то в мусоре под деревом маленькую серебряную полуфранковую монету.

Надо было видеть его в тот момент, когда он, как ястреб, кружился над своей добычей! Какое у него было выражение лица! Какие неопишуемые движения!

У него была целая система искания подножных денег. Для своей охоты Леон выбирал предутренние часы. Наспех одевшись и захватив свою удивительную трость, он уходил на Сен-Мишель, стремясь попасть туда до прихода подметальщиков. Ему нравилась эта романтическая работа.

Бульвар еще спит. Дома, деревья, асфальт в росе, источающей свежую прохладу ночи. Только редкие подвыпившие пешеходы нарушают тишину.

Устроившись под первым каштаном, Леон закурил папиросу и ждал рассвета. Как только предметы на асфальте становились различимыми, он брался за работу. Тонкая трость с острым наконечником в крепко сжатой руке. Шляпа надвинута на лоб. Рыбак ищет серебряных рыбок.

«Рыбками» Леон называл франковые и полуфранковые монеты. Острое зрение опытного натурщика, разумеется, ему очень помогало. Блеск рыбок он умел уловить на большом расстоянии.

\* \* \*

На прошлой неделе Леону повезло, и он нас здорово угостил.

Прогуливаясь вечером после сентябрьского дождя по Монпарнасу, он заметил у водосточной трубы в небольшой лужице какую-то радужную бумажку. У Леона сердце застучало. Чтобы не возбудить подозрения у стоявшего почти у самой лужицы полицейского, Леон долгое время вертелся у находившегося рядом писчебумажного магазина. Он внимательно изучал портреты писателей и философов, выставленные среди чудесных лиловых конвертов и мраморных письменных приборов, сосчитал все проплывшие перед ним мокрые фиакры, выкурил несколько папирос, но полицейский стоял, точно бронзовая фигура, привинченная к асфальту.

Это начало уже надоедать, но тут на помощь пришло небо. Леону всегда везет. Откуда-то из-за крыш высоких домов налетели тяжелые тучи и начали славно обрызгивать бульвар.

Полицейский спрятался в дверях ближайшего кафе. Насвистывая веселую арию, Леон спокойно направился к трубе. Мокрая, испачканная грязью бумажка оказалась настоящей десятифранковой...

Поблагодарив жестом небо, счастливый Леон быстрым шагом отправился домой.

\* \* \*

Вечером собрав нас, друзей, отвыкших от сытой жизни, Леон приказал следовать за ним. Мы ясно чувствовали, что он нас ведет на вечеринку, но делали вид, что не понимаем, в чем дело. Он нас привел в уютный монпарнасский ресторан, где кормились хорошо зарабатывавшие художники и их ленивые накрашенные подруги.

Побуждаемый чувством великолепия, Леон хотел показать нас Латинскому кварталу во всем блеске. И он нас показал.

Выбрав в глубине ресторана пустовавший уютный столик, Леон рассадил всех, как на свадьбе, и голосом человека, уставшего от милостей Парижа, громко бросил:

– Гарсон, меню!

И гарсон почтительно подал ему меню.

В такие часы лицо Леона казалось освещенным лучами утреннего солнца.

– Сегодня, друзья мои, – сказал он, – мы живем, как Ротшильды... Не отказывайте себе ни в чем!

Ну и кутнули же мы!

## Коллекция Леона

Мелькнул знакомый силуэт. Леон! Его манера высоко и чуть набок держать голову. Да, это он! Может, у него выужу франк, в крайнем случае, пятьдесят сантимов – и двину к Ротшильду в гости. Вот уж поем этого пресного, как мел, но горячего и плотного риса! Вот уж на славу поем! Я его нагнал.

– Леон!

Он неохотно обернулся. Лицо его не сияло радостью. По его глазам я быстро понял, что он занят тем же, чем и я. Он ищет монеты, рассчитывая на весеннее настроение ворчливой Фортуны.

– Куда торопишься, Леон?

– На медицинский факультет.

– Зачем?

– Хочу медикам свой мозг запродать. Не возьмут мозг, тело предложу.

– Мало дадут, не советую.

Я ему стал доказывать, что французы народ скупой и мелочный.

– Да, не оценят, – соглашался он. – Ты прав насчет французов. Скуповатый народец. Правда, и туловище у меня не первого сорта. Ни кому я теперь не нужен, и ничего я теперь не стою. А было время, – с глубокой печалью добавил он, – когда в бумажнике моем лежали радужные, как сегодняшний день, бумажки и когда нижний этаж честно и бес перебойно работал. Куда же ты советуешь податься? Не на Марше-о-Пюс (Блошиный рынок) же мне поплыть. Там сидят нищие евреи, для которых пять франков – капитал. Черт знает, что такое! Не иметь франка, чтоб посидеть в кафе с таким другом в такой чудесный день!

Я шел рядом с ним, слушая его горячую, прыгающую речь. На углу Суфло мы остановились.

– Пойдем, сэр, ко мне, – важно сказал он мне. – Может, в моем скромном буфете найдутся еще сухарики... Выклянчим у хозяина отеля бутылку пива. Посидим, поболтаем. Как думаешь, сэр?

Я согласился.

Он жил на Сен-Жаке, 82, в старом и грязном отеле. Над покосившейся входной дверью висела ветхая и жалкая вывеска со смытой зимними дождями надписью: «Отель Генриха IV». С большим трудом мы одолели лестницу, кривую и темную, как ночной монмартрский переулочек, и липкую, как рыбный отдел Центрального рынка. Леон громко и властно командовал: «Сюда, сэр, влево, держитесь крепче, мон шер, смелей!»

– Знай, Леон, – сказал я ему, переведя дыхание, – ты мне за эту лестницу заплатишь лишним сухарем.

– Ладно, сэр. Ну, вот и мой Пти Пале (Маленький дворец)! – провозгласил он торжественно.

Он отпер дверь. В нос ударила смесь крепких запахов несвежего белья, мочи и клопов. Грустная романтика хорошо знакомых мне нищих отелей. Комната была тесно заставлена старой рухлядью и казалась необитаемой. Точно склад старьевщика.

– Отдохнем чуть в этом прелестном уголке, – проговорил он усталым и разбитым голосом.

Я сижу в жестком нищенском кресле и рассматриваю владельца Пти Пале. Глаза человека, уже не считающего проигранных партий. Такие люди на удары Судьбы уже не отвечают и не обороняются. Они только стараются сделать удары не очень тяжелыми, для чего пользуются хорошо известным методом поставленного воротника. Лицо его, как всегда, чудовищно гладко выбрито. Редкие напояженные черные волосы деликатно прикрывают стыдливую

лысину. Под нижней, несколько выпяченной губой небольшая, но значительная морщинка – отпечаток забот и снисходительности. Шелковый галстук – черное с золотом. Воротничок утомляющей белизны. Трость камышовая с металлическим набалдашником, счастливо купленная у старьевщика на утренней Муфтарке. Природа с ним обошлась довольно дружески. Она его наградила редчайшим умением не скучно жить и ладить с нуждой. Мне нравилась в нем эта ценная способность.

– Где же твое миндальное печение? – спросил я его.

– Не торопись, мон шер, доберемся и до него. – Он встал, подошел к комоду с отбитыми углами и, насвистывая уличную песенку «Мариетту», выдвинул верхний ящик и запустил в него обе руки.

– Вот мое угощение, – сказал он. – Подойди ближе.

Я подошел к комоду. На дне ящика я увидел множество фотографий.

– Угощаю. Это все мои романы и увлечения за двадцать лет. Смотреть можешь, сколько хочешь. Только одно условие – ничего не брать.

Я дал слово.

Замусоленные, грязные фотографии. Видно было, что их часто брали потные, замаранные руки. Были и без углов, изодранные, с полустертым изображением. Я их стал внимательно перебирать, рассматривать. Грудь, шею, глаза, носы, шляпы, руки и ноги. Жирные, толстые, худые, костлявые. Богатейшая коллекция морд, лиц и личиков, от которой Домье и Доре пришли бы в восторг. Никогда в жизни не забыть мне ее.

– Неужели все они собраны тобою? – спросил я.

– Да, мною, – гордо ответил он. – Двадцать лет – понимаешь, друг мой. Двадцать лет! Это почти вся моя жизнь. Как тяжело думать сейчас об этом. Точно совсем недавно я их обнимал этими руками (он протянул свои костлявые большие руки), целовал вот этими губами (указательным пальцем он указал на свои влажные губы). Точно вчера я вдыхал запахи их кожи, волос... белья. Я как будто слышу их голоса, смех, плач... Живы ли они? Что с ними? Я только одну встречаю – Мари. Но эта, некогда чудесная, девушка чудовищно постарела. Какие-то руины! Тяжело глядеть на нее. Руины, руины... – уже забыв о моем существовании, твердил он про себя.

Спазмы голода и его истеричная речь меня утомили. Я почувствовал, как во мне росло и ширилось раздражение.

– Да, Леон, все они чудовищно постарели и служат консьержками в грязных, вонючих отелях, – говорю я, чтобы поддеть его. Его левый глаз прищурился, пряча вспыхнувший огонек злости. Отвисшая нижняя толстая губа неприятно обнажила его вставные фарфоровые зубы.

– Старость – вот самая пакостная вещь! Как умно поступил Лафарг с женой. Ты знаешь, они, как только почувствовали, что старость их взяла за бока, – покончили с собой.

И, простирая ввысь руки, он придушенным голосом произнес благоговейно:

– Вот храбрецы!

Несколько минут он торжественно молчит, потом порывистым движением вытаскивает из ящика пачку фотографий и жадно разглядывает их. Затем он их патетически бросает на стол.

– Милые мои, дорогие мои, что с вами? Где вы? Вспоминаете ли вы меня?! – Голова его опускается над ними. Что-то шепчет им.

Я начинаю понимать, что никакого угощения не будет, что пиво с сухарями – это блеф, что Леон меня завлек к себе с тем, чтобы сделать из меня аудиторию, публику. Цель достигнута. Мы свои роли сыграли и теперь можем расстаться. Теперь он может спокойно собрать свою замечательную коллекцию и спрятать ее в комод в муфтарском стиле до следующего сеанса. Мною овладело сильнейшее раздражение. Я бросился на улицу. Нарядно одетая

толпа плыла вниз по Сен-Жаку в сторону Сены. Когда я взглянул на дома и деревья, забрызганные густым, горячим солнечным светом, а потом поднял голову к расплавленному ультрамариновому небу – мне стало так легко, что я готов был простить ему все. Я даже готов был видеть в его коллекционировании возлюбленных один из видов сильнейшей, достойной уважения, страсти. Брать фотографии в руки, глядеть на них, переживать все сызнова, волноваться. Трогательно! Он, вероятно, потерял бы смысл своей жизни, если бы кто-нибудь украл бы у него эту чудовищную коллекцию.

Через минут пятнадцать я уже шагал по Сен-Мишелю. Мои глаза жадно вглядывались в сухой пыльный асфальт. Надо было спешить, чтобы не опоздать к миллионеру Ротшильду в гости!

## Мать с очками

Это прошлое, несмотря на связанное с ним воспоминание о нужде, никогда не вело меня к разочарованию и горестям. Всегда окутанное радостным светом юного романтизма, оно меня воодушевляло, обогащая жизненным опытом и счастливым умением легко переносить трудности.

\* \* \*

Утром нас разбудили надрывные крики молодых горластых газетчиков.

– Пропажа в Лувре знаменитой Джоконды! Исчезновение знамени той Джоконды!

Мы спустились из мастерской на улицу, купили газету и прочли:

«Вчера вечером луврская охрана, осматривая итальянские залы, обнаружила исчезновение величайшего шедевра старой итальянской живописи (“Монны Лизы”, прозванной “Джокондой”, которая была написана в 1503 году). Портрет Джоконды – работа гениального Леонардо де Винчи. Принятые сыскальной полицией срочные меры по розыску пропавшего шедевра пока не увенчались успехом. Розыски Джоконды продолжаются».

– Сходим в Лувр, – сказал я. – Посмотрим, как парижане реагируют на это сенсационное событие.

Жак охотно согласился. Зашли в кафе, подкрепились и пошли в Лувр. Был яркий день. С привычным энтузиазмом сияло солнце.

Город жил своей обычной жизнью. Мы в Лувре. Зашли в опустевший зал Джоконды. Было много народу. Фотографы с непередаваемым усердием снимали возбужденную публику, одинокую, осиротевшую раму. Вор, очевидно, был искусный мастер своего дела. На раме не было ни одной царапины.

Лица парижан выражали печаль и скрытое возмущение.

В толпе выделялись два спорящих француза. Один в коричневой визитке с большой лысиной, другой – в голубом модном костюме и в кремовых гетрах. Мы близко подошли к ним и услышали, о чем они спорили. Француз в коричневой визитке с большой лысиной с неослабеваемым раздражением говорил:

– Джоконда обязательно вернется. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Ее весь мир знает. Ее никто не может продать, и никто не может купить.

Другой француз в голубом костюме и кремовых гетрах спокойно, со скрытой иронией говорил:

– Не вернется. Ее купит американский миллионер и спрячет. Попробуйте ее найти.

Быть в Лувре и не поглядеть на Веласкеса, Гойю и Рембрандта нам показалось грешно, и поэтому мы поспешили к великим немеркнущим старикам.

Мы долго-долго простаивали перед ними, стараясь вобрать в себя их неугасимый творческий жар и тайно мечтая о том, чтобы скопировать одного из них.

– Какая это школа для молодого художника, – сказал я, – копировать великого живописца. Недаром Мане больше проводил времени в музее, чем в академии. Кутюр ему ничего не дал, а Гойя и Гальс дали: определили путь и достижения. А сколько лет отдал Дега ранним итальянцам, когда жил в Италии!

Охваченные радостным волнением, мы в эти часы не чувствовали разрыва между надеждой и уверенностью. Наступил вечер, и в Лувре картины потемнели. Охрана нас попросила оставить музей.

Мы на улице. Пешком дошли до площади Сен-Мишель, и у фонтана увидели толпу. Подошли ближе.

В больших соломенных шляпах и широких испанских мантиях уличные музыканты. Трое поют, а двое на испанских гитарах аккомпанируют. Прислушались и были удивлены. Музыканты уже успели сочинить песенку о пропавшей Джоконде. Они пели так, будто песня приносила им большую, вдохновляющую радость, и трудно было поверить в их неискренность. Припевом к каждому куплету были трогательные слова: «Мне надоело жить в объятиях скучной рамы... Я не так стара, как думают парижане. Мне хочется хоть часок побывать на веселом Монмартре. Разве это большой грех?»

Песня о Джоконде окончена. Один из музыкантов снял шляпу и обошел с нею подпевавшую публику. В шляпу бросали мелочь. Кто сколько мог. Бросили и мы четыре су. Малик сказал твердо:

– Больше нельзя. На ужин не хватит.

– Послушай, дружок, – задумчиво добавил Жак. – Мы находимся около знаменитой обжорки «Мать с очками». Сходим туда и поужинаем? Мать обжорки нас накормит и утешит. Как ты думаешь?

– Сходим, – сказал я, стараясь скрыть свой голод. Ускорив шаг, мы направились в обжорку.

\* \* \*

Обжорка находилась в одном из переулков района музея Клюни. Полутемный, унылый переулок. Из чувства гордой брезгливости солнце очень редко посещало его. Только гнилые дожди и серые туманы дружили с ним.

Над обжоркой висела большая желтая вывеска с синей надписью: «Мать с очками». По бокам входной двери, на двух больших окнах, висели потемневшие от времени полотняные шторы. Входная дверь была всегда открыта, и из обжорки неслись тяжелые запахи жареной картошки, лука и кровяной колбасы. Первый в обжорку вошел мой гид – Жак. Надвинув шляпу на лоб и приподняв воротник (такие здесь были для посетителей нерушимые традиции), Жак громко густым басом произнес:

– Месье, мадам!

Мать в очках ему ласково и протяжно ответила:

– Месье!

Мы деликатно поклонились, обошли мать с котлами и лесенку, на которой она стояла, подошли к большому столу и сели на стулья с высокими спинками. Вкладывая в слова уважение и торжественность, Жак бросил матери с очками:

– Шер мадам! Два супа, две картошки, две чечевицы, двое мулей (мидий) и два куса хлеба!

Мать повторила все это и уважительно подала заказанные, изысканные блюда.

Утолив голод, мы заметили, что против нас в поношенном черном сюртуке сидит бородач. Очевидно, нищий. Он свирепо на нас поглядывал и все время кого-то поносил. Из его отдельных слов и возгласов можно было понять, что мы виновны в пропаже Джоконды и вообще во всех бедах и несчастьях Франции.

– О, – воскликнул он истерично, – этих врагов – немцев надо вы гнать! К черту их!

Вдруг мать с очками быстро сошла с лесенки, подбежала к бородачу и, разливной ложкой крепко ударив его по лбу, громко выругалась:

– Старый дурак! Что ты пристал к молодым людям? Это мои друзья – русские художники.

И, поправив на носу свои прославленные позолоченные очки, она спокойно вернулась на свое обычное место.

Жак и я поблагодарили ее за дружбу и мужество.

– Не обращайтесь на него внимания, – мягко улыбаясь, сказала она. – Он, когда выпьет лишний стаканчик вина, любит к людям приставать.

С бородачом творилось нечто неладное. Он сильно заволновался. Вытирая рукавом свой лоб, он мужественно повторял: «Мерси, мадам!» Потом он подошел к нам и, низко кланяясь, стал извиняться:

– Простите меня, старого дурака! Пардон миль фуа (Тысячу раз простите), – повторял он. И голосом, внушившим нам желание обласкать его, он негромко сказал:

– Я русских люблю. И уважаю. Хорошие люди!

Мы его успокоили.

– Не волнуйтесь, шер месье, – сказали мы, – в жизни всякое бывает. Все люди ошибаются.

И, чтобы окончательно его успокоить, крепко пожали его красные опухшие руки. Он успокоился и вернулся на свое место.

\* \* \*

Через три месяца Джоконду принес в Лувр работавший там столяр. Итальянец. Его арестовали и судили. Похищение Джоконды он объяснил патриотическим желанием забрать ее и передать в Италию как национальное богатство своей родины.

\* \* \*

Жака – мужа матери обжорки – мы всегда видели в углу. Он стоял спиной к посетителям и угрюмо чистил картошку. Порой, когда эта однообразная, утомительная работа ему надоедала, он, чтобы заглушить свою тоску, негромко напевал парижские уличные песенки, а когда и они ему надоедали, он курил. Одну папиросу за другой. До одурения.

Мать обжорки редко и мало говорила. Простым словам она умела придать глубокий, волнующий смысл. Удивительно, что все, о чем она говорила, было окутано какой-то радостной тайной.

После разговора с ней мне всегда казалось, что ее счастье начиналось и кончалось в пределах добра, которое она людям делала.

И еще казалось, что вся ее жизнь – старание больше и лучше накормить голодных людей и что теперь, на пороге старости, она, думая, что недостаточно их кормила, спешит восполнить пропущенное.

– Ах, – как-то с налетом горечи сказала она мне, – если бы я вновь начала жить, я бы не жалела, как раньше, своего сердца. Моя счастливая жизнь, теперь я поняла – это расходование. А я сэкономила...

\* \* \*

Работа хозяйки обжорки всегда была примером трудолюбия, простодушия и чувства самоотречения.

Часто после разговора с ней я уходил с желанием всегда работать и свои труды отдавать не только тем, у кого имеются деньги, но и тем, у кого есть искренняя любовь к искусству и доброте.

Вспоминая о матери обжорки, я часто думал, что судьба мне ее послала как милость.

\* \* \*

В начале сентября был день ее рождения. Я и Жак написали для нее два натюрморта. Жак написал белую вазочку с красными тюльпанами и лимонными нарциссами. Я – голубое блюдо, до верха наполненное красными раками, и рядом с ними – толстую бутылку сидра. Мать с очками была в восторге. Целый час благодарила. Потом угостила нас устрицами и вином. Я усмотрел в этом черту великодушия.

\* \* \*

Сегодня нужда опять погнала нас в обжорку. Десятый день, как мы не обедаем. Мы только завтракаем и ужинаем. Жак продал на Муфтарке все свои краски, а я – подарок отца, старинные часы. Мы ищем малярную работу, но ее очень трудно найти.

Я начал привыкать к «Матери с очками». Восхищен ее добротой и мягкостью. Я подчинился тому бессознательному чувству, которое движет человеком, когда он сталкивается с искренними и добрыми людьми.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.